

В. Отрошенко

СУХОВО-КОБЫЛИН



ЖЗЛ

# СУХОВО-КОБЫЛИН



Владислав  
Отрошенко



ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ





ЖИЗНЬ<sup>®</sup>  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

Основана в 1890 году  
Ф. Павленковым  
и продолжена в 1933 году  
М. Горьким



МАЛАЯ СЕРИЯ  
ВЫПУСК

56

Владислав Отрошенко

# СУХОВО-КОБЫЛИН

РОМАН-РАССЛЕДОВАНИЕ  
О СУДЬБЕ И УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ  
РУССКОГО ДРАМАТУРГА



МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
2014

УДК 882-2(092)  
ББК 84(2Рос=Рус)1  
О 87



знак информационной  
продукции **16+**

**ISBN 978-5-235-03666-6**

© Отрошенко В. О., 2014  
© Издательство АО «Молодая гвардия»,  
художественное оформление, 2014

---

---

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Проклята будь ты, судьба,  
в делах твоих.*

А. В. Сухово-Кобылин. Дело

Утром 6 октября 1842 года пароход «Санкт-Петербург», следовавший из Гавра, вошел в воды Финского залива. Каюту первого класса занимала профессиональная модистка, парижанка Луиза Элизабет Симон-Деманш\*, двадцати трех лет от роду, вероисповедания католического. В таможенных документах она записала себя вдовой, хотя замужем никогда не была.

Она ехала в Россию, чтобы через восемь лет, на Михайлов день, в непроглядную пургу, сгинув в сугробах Ходынского поля, стать судьбой русского

---

\* Французское написание ее имени — *Louise Simon-Dimanche*. Гласная в первом слоге второй части фамилии произносится как нечто среднее между «ю» и «и», поэтому точнее было бы писать Дюманш или Диманш (такие транскрипции иногда встречаются в современной литературе). Однако во всех русских документах при жизни француженки в Москве, во всех материалах следствия, в большинстве мемуаров, а также во всех академических изданиях принято написание Деманш, которому мы и будем следовать. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания автора.*)

драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина — сделаться навеки неотступной и скорбной тенью его славы, терновым венцом его блестящих побед и триумфов.

Обер-прокурор Правительствующего сената, управляющий шестым департаментом Министерства юстиции, сенатор Кастор Никифорович Лебедев заметил в своих «Записках» с брезгливой меланхолией: «Грустно видеть эту француженку, залетевшую в Москву, чтоб кончить ужасной смертью».

В деле Сухово-Кобылина об убийстве Луизы Симон-Деманш обер-прокурору предстоит сыграть не последнюю роль.

В 1854 году он, Кастор Никифорович, приближенное и доверенное лицо министра юстиции графа Панина, составит «от имени и за подписью» министра грозную резолюцию по делу, вследствие которой Сухово-Кобылин будет подвергнут тюремному заключению по подозрению в убийстве.

Граф Панин однажды признался со свойственной ему прямоотой: «Я всю жизнь подписывал вещи, не согласные с моими убеждениями».

В данном случае содержание «вещи» фатально совпадало с убеждениями министра, что придавало бумаге сугубую силу. Вдохновленный столь редкой удачей, Кастор Никифорович отважился просить у графа красную ленту через левое плечо\*. И хотя Панин, по утверждению его биографа, умел ценить труды своих подчиненных и даже «смотрел на их письменные работы как на создания художников, увековечивающих имя своими произведениями», ленты он обер-прокурору не дал и просьбой его

---

\* Красная лента через левое плечо — атрибут ордена Святого Александра Невского. (*Прим. ред.*)



остался крайне недоволен. А когда «художник» шестого департамента стал открыто выставлять свои заслуги перед собратями по чиновничьему перу, министр юстиции вызвал его в кабинет и напомнил ему о другом художестве его неразумной юности — крамольной сатире на Императорский Московский университет, которую Лебедев сочинил в 1834 году, будучи студентом этого учебного заведения. Кто знает, быть может, Кастор Никифорович увековечил бы свое имя не только как чуткий писатель и оратор панинской школы, которая воспитала целый легион виртуозов, блиставших красноречием на заседаниях Сената, но и как утонченный сатирик, если бы ему с самого начала не отбили охоту к подобного рода сочинительству: тираж его остроумного опуса под названием «Рассуждения о царе Горохе» изъяли, а автора удалили из университета.

Сатириком Кастор Никифорович не стал. Но русская сатира в лице Сухова-Кобылина многим обязана сенатору.

Именно он натолкнет автора «Дела» на создание одной из самых драматичных сцен в этой пьесе, когда в своем прокурорском кабинете на глазах у изумленного драматурга съест билет Опекунского совета — взятку в десять тысяч рублей серебром, полученную от Сухова-Кобылина за обещание «дать делу положительный ход». Никакого положительного хода делу об убийстве Деманш Лебедев, разумеется, и не думал давать. Ибо в то самое время, когда на уровне обер-прокурорского зада отчаянно выплясывали подвижные пальцы, пытаюсь и так и эдак изобразить перед просителем заветную цифру с четырьмя нулями, в камерке письменных дел стряпчего уже вовсю скрипели казенные перья — производилась на свет прокурорская резолюция,

сулившая драматургу 20 лет каторги. Банковский билет, скользнувший неуловимым призраком в правый карман жилетки обер-прокурора, мог бы, пожалуй, значительно ускорить осуществление его давней мечты удалиться на покой и стать беспечным владельцем живописных деревенок с мукомольнями и винокурнями, если бы Александру Васильевичу по дороге домой не пришлось в голову вернуться в департамент и заглянуть к стряпчему. Вознагражденный двумя пятирублевыми кредитными билетами стряпчий любезно позволил ему ознакомиться с резолюцией Лебедева. В один миг откроется Александру Васильевичу вся глубина вековой чиновничьей мудрости: просителю обещать, чтобы брать с него взятки, а дело в любом случае поворачивать в угоду начальству, чтобы получать от него ордена и должности. Он прозреет, но прозрение будет запоздалым. И когда Александр Васильевич, вне себя от ярости, ворвется в кабинет обер-прокурора и обрушит на него свой гнев и угрозы — подлец, негодяй, мошенник! я сейчас крикну на весь департамент! да что департамент — я крикну на всю Россию, что я дал вам взятку! у меня записан номер билета... вас обыщут... у вас найдут... вас призовут! — Кастор Никифорович ничуть не смутится. Он горестно усмехнется в лицо Александру Васильевичу, нехотя вытащит из кармана свернутый вчетверо билет, положит его в рот и, тщательно разжевав, проглотит половину подмосковного имения писателя. Единственная улика еще не успеет перевариться в желудке статского советника, а на голову Сухово-Кобылина уже польются велеречивые потоки праведного негодования. Вооружившись прокурорским красноречием, Кастор Никифорович ринется в атаку и, предвосхищая вдохновенные

инвективы цензоров Феоктистова и Нордштрема, обвинит будущего сатирика в злонамеренном оскорвлении «святых стен» и «Зеркала Империи». Под возгласы возмущенных жрецов Фемиды его выведут вон из «высшего присутственного места державы» и захлопнут за ним дверь, которую он порывался распахнуть, чтобы крикнуть «всей России»: «Здесь грабят!!»

Россия услышит этот вопль 30 лет спустя, когда с пьесы «Дело» снимут намордник, причешут ее цензорскими карандашиками и выпустят с биркой «Отжитое время» на русскую сцену. И тогда публика благодушно посмеется над «мрачными фантазиями» престарелого драматурга, которого в молодости «обидели дореформенные крючкотворцы».

— Странная, странная судьба! — не раз повторял Сухово-Кобылин в своих дневниках и письмах. И однажды, устав тягаться со своим «незрячим поводырем», он доверился его неразумной воле:

— Я покорен тебе, судьба, веди меня, я не робею, не дрогну — даже если не верю в твой разум. Веди меня, Великий Слепец — судьба!

Пароход «Санкт-Петербург» огласил протяжными гудками столичную гавань. Вершил свою волю Великий Слепец.

Из Парижа Луиза выехала одна, без друзей, без знакомых, без средств и надежд. Через год она станет известной московской купчихой, компаньонкой и поверенной в коммерческих делах семейства Кобылиных, владелицей бакалейных лавок на Неглинной и винных магазинов в Охотном Ряду с капиталом в 60 тысяч, с апартаментами в доме графа Гудовича, с загородным особняком в Останкине,

с многочисленной прислугой, рассыльными и экипажами.

Тогда, в 1842 году, она везла с собой в Россию дорожный саквояжик с недорогими туалетами, ризунки и выкройки шляпок французских моделей, и всё состояние ее составляло 400 франков.

Среди прочих ее вещей в кожаном портмоне с медными уголками лежала аккуратно свернутая записка на французском языке, написанная Сухово-Кобылиным и адресованная госпоже Мене, содержательнице модных магазинов на Кузнецком Мосту. В записке этой Александр Васильевич в коротких словах рекомендовал определить французженку в один из магазинов, где он был постоянным и щедрым заказчиком.

С Александром Васильевичем Луиза познакомилась в Париже в 1841 году. Он предстал перед ней в ресторане «Пале-Рояль» с бокалом шампанского, с газеткой «Шаривари» в кармане жилета и, любезно раскланявшись, предложил тост «за очаровательных французских женщин» в ее лице. В тот вечер она, как обычно, скучала за ужином с пожилой дамой, унылой подругой-наставницей, из тех, что неизбежно прилепляются к молодым и одиноким девушкам, обойденным судьбой.

И вдруг он явился — красавец, богач, беспечный барин, блестящий русский аристократ, европейски образованный, потомок боярина Андрея Кобылы, от коего выводили свой род и российские самодержцы Романовы, крестник Александра I, нареченный в честь своего венценосного приемника от купели, владелец обширных родовых имений в пяти губерниях Российской империи, столбовой дворянин, хранивший в своем архиве указы царей Иоанна Грозного и Петра Великого «на жалован-

ные роду Сухово-Кобылиных города и села», наследник крупнейших в России чугуноплавильных заводов на Выксе, хозяин тысяч крестьянских душ, каждая из которых трепетала при виде своего сурового барина, «бывавшего из собственных рук».

Внешностью он поражал всех, кто с ним встречался. Вот знаменитый портрет, перед которым слуги Кобылина замирали в паническом страхе, когда им случалось зайти в барский кабинет в отсутствие хозяина. Его написал художник Тропинин в 1850-х годах, в самый разгар следствия по делу об убийстве Деманш. Александр Васильевич смотрит с портрета холодными черными глазами. Взгляд его исполнен самообладания, смуглое лицо с заметными восточными чертами выражает горделивую независимость и непреклонную волю, крутой и властный характер; огромные усы заострены на концах, смоляные волосы зачесаны назад, на галстук бриллиантовая брошь с фамильным гербом. До глубокой старости сохранял он лоск и осанку родовитого барина. Знавшие его в один голос твердят, что в 70 лет он выглядел крепким сорокалетним мужчиной, был красив и статен. Борода росла у него полумесяцем, круто загибаясь концами вверх, и только на девятом десятке полумесяц разогнулся, превратился в широкую лопату, под глазами появились мешки, сгладились черты восточного властелина, унаследованные им по материнской линии от рода Шепелевых — потомков татарского хана. Среди немногих сохранившихся фотографий Сухово-Кобылина в музее Бахрушина есть снимок, сделанный в Париже как раз в ту пору, когда Александр Васильевич познакомился с Луизой Деманш. Он сидит в кресле, широко расставив ноги в изящных штиблетах, европейский костюм сверкает белоснежными

манжетами, пышные бакенбарды лихо загибаются назад, голова повернута, и глаза презрительно косят в сторону. Трудно представить, что этого гордого и неприступного барина повезут по городу в казенном экипаже со стражником на подножке вместо выездного лакея, что частные приставы будут взламывать его секретеры и рыться в бельевом шкафу его содержанки, что его любовные письма будут зачитываться с трибуны Сената и Государственного совета и что будут таскать его на допросы из Тверской части в Мясницкую, пока не усадят на гауптвахту у Воскресенских ворот. А там уж будут маячить ему и Владимирская дорога, и «сырая сибирка», и «бубновый туз»...

Всё, братец, будет; это закон природы — и полиция будет, и Владимирки не минешь.

*«Свадьба Кречинского»,  
действие второе, явление XVI*

Луизу Александр Васильевич пленил. С первых же слов разговора, завязавшегося за столиком в «Пале-Рояле», он поразил ее своей темпераментной речью, блиставшей остроумиями на четырех европейских языках — французском, английском, итальянском и немецком, которыми он владел в совершенстве.

«По сведениям, полученным от лиц, знавших Сухово-Кобылина, — писал в 1910 году журнал «Русская старина», — оказывается, что он играл в обществе перед судебным процессом выдающуюся роль по своему обширному уму, образованию и богатству. Его острого, как бритва, языка боялись многие, не исключая всемогущего в то время генерал-губернатора».

Да, Александр Кобылин, титулярный советник канцелярии военного генерал-губернатора Москвы графа Арсения Андреевича Закревского, перед которым трепетал весь город, позволял себе дерзко шутить насчет своего начальника. В так называемой зеленой комнате Английского клуба, в которой собиралась избранная публика — молодые люди из самых знатных семейств московского дворянства, он в открытую называл Арсения Андреевича «венценосным рогоносцем». Жена Закревского Аграфена Федоровна, урожденная Толстая, двоюродная тетка Льва Николаевича Толстого, не отличалась верностью своему могущественному супругу. Она вышла замуж за Арсения Андреевича «условно», по настоянию императора. Александр I, как пишет один из многочисленных биографов генерал-губернатора, «очень высоко ценил достоинства Арсения Андреевича и, зная его недостаточные средства, женил его на графине Толстой, в то время одной из богатейших невест». Закревская была женщина чрезвычайно обаятельная, сладострастная и эксцентричная. Презируя женскую добродетель, Аграфена Федоровна не заставляла своих поклонников страдать от безответной любви. «На грудь роскошную она звала счастливица молодого», — писал о ней Евгений Баратынский, в молодости, как и многие его современники, не избежавший увлечения «рабой томительной мечты».

Трудно сказать, знал ли Александр Васильевич, что зеленая комната находилась под тайным надзором генерал-губернатора. Во всяком случае, его сослуживцам по канцелярии это было хорошо известно. Лица, посещавшие зеленую комнату, были записаны у Закревского в особую, зеленую же, книжечку. И всё, что говорилось там, — а говорилось,

как свидетельствуют современники, «нараспашку», — доносили Закревскому, который сам не имел доступа в эту ненавистную ему комнату. При этом Арсений Андреевич желал знать мнение зеленой комнаты о каждом своем поступке. Установив, например, в своем имении памятник графу Каменскому, с чьим именем и рекомендациями никому не известный штабной майор Закревский штурмовал должностные вершины — от адъютанта военного министра до дежурного генерала при штабе Александра I, — Арсений Андреевич справлялся у верных людей о том, что говорят в зеленой комнате по поводу надписи на памятнике: «Моему благодетелю». И верные люди, заикаясь от страха, сообщали остроты Сухово-Кобылина, которые приводили генерал-губернатора в бешенство.

Кого задевал Александр Кобылин? Грозного правителя Москвы, наделенного полномочиями диктатора. Но что мог поделаться Закревский, новоиспеченный граф, получивший титул от финского сената, с этим потомственным аристократом, который в Английском клубе стоял с ним на одной ступени аристократической лестницы, если не выше?

— Трудно графу Закревскому не быть в ложном положении в городе, где общество считает себя аристократическим, где говорят и острят на французском языке! — посетовал однажды Кастор Никифорович в разговоре с министром юстиции, благоразумно назвав «ложным положением» досадное украшение — незримые рога, прочно укрепившиеся надо лбом губернатора стараниями Аграфены Федоровны.

Потом, когда дело об убийстве Деманш ляжет на генерал-губернаторский стол, титулярному советнику все его остроты и дерзости аукнутся тайным



губернаторским следствием, повальными обысками, очными ставками и черными каретами с зашторенными окнами.

В годы, предшествовавшие судебному процессу, Александр Васильевич успел восстановить против себя многих влиятельных людей, в чьих руках оказалась потом его судьба. «Причиной этого была его натура — грубая и нахальная», — писал в мемуарах начальник Главного управления по делам печати Евгений Михайлович Феокистов, который в молодости был домашним учителем у племянников Александра Васильевича и мальчиком на посылках при его сестрах (его показания окажутся самыми ценными для секретного следствия по делу об убийстве Деманш). Вспоминая Сухово-Кобылина, Феокистов утверждал, что не встречал человека более властного и жестокого: «Этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентльменские манеры, старавшийся казаться истым парижанином, был, в сущности, по своим инстинктам жестоким дикарем, не останавливающимся ни перед какими злоупотреблениями крепостного права. Дворня его трепетала. Мне не раз случалось замечать, что такие люди, отличающиеся мужественной красотой, самоуверенные до дерзости, с блестящим остроумием, но вместе с тем совершенно бессердечные, производят обаятельное впечатление на женщин. Александр Кобылин мог похвастаться целым рядом любовных походов, но они же его и погубили».

С будущим шефом российской цензуры, а тогда студентом Московского университета, которого Александр Васильевич и не замечал в своем доме, как не замечал камердинера или мебель, его еще не раз столкнет судьба. С сердечной полицейской

нежностью Евгений Михайлович будет кастрировать пьесы этого «жестокоего дикаря», запрещать их одну за другой к постановке на сценах Императорских театров, не останавливаясь ни перед какими злоупотреблениями цензорской властью. Видимо, такова уж была судьба Сухово-Кобылина — испить до дна чашу презрения влиятельных рогоносцев, к племени которых принадлежал и шеф российской цензуры. Так же, как и военный генерал-губернатор Москвы, он благодаря наклонностям супруги беспрестанно попадал в «ложное положение». Правда, Софья Александровна Феокистова, в отличие от Аграфены Закревской, предавалась греховным страстям небескорыстно. Министр государственных имуществ Михаил Николаевич Островский, под началом которого служил Феокистов, оплатил услуги Софьи Александровны щедро — назначением мужа на пост главы цензурного ведомства. Впоследствии министру не пришлось сожалеть о своем выборе: его личный интерес нечаянно совпал с государственным — российская цензура обрела достойного начальника. Что же касается едкой эпиграммы поэта Дмитрия Минаева, которая облетела все московские салоны, то она только лишний раз подчеркивала высокие служебные качества обоих героев:

Островский Феокистову  
На то рога и дал,  
Чтоб ими он неистово  
Писателей бодал.

Феокистов взялся за дело круто и был, как пишут современники, неутомим «по части мероприятий к обузданию печати». В первые же годы пребывания на посту он добился закрытия многих газет и

журналов. Впоследствии его стараниями были взяты на особый цензорский учет Лев Толстой, Салтыков-Щедрин, Чехов, Гаршин, Короленко. «Никогда еще наша цензура не стояла в такой степени на высоте своего призвания, — писал Владимир Михневич в фельетонном словаре «Наши знакомые», выпущенном в Петербурге в 1884 году, — никогда она не была так проницательна, так бдительна и строга, как под руководством г. Феокистова».

В заграничное путешествие, во время которого Александр Васильевич познакомился с Луизой Деманш, он выехал в 1838 году, сразу после окончания философского факультета Московского университета, где он проучился четыре года в качестве своекоштного (находящегося на собственном содержании) студента\*. Университетские отчеты свидетельствуют, что в годы учебы он проявил себя блестяще: «За представленное сочинение на заданную тему “О равновесии гибкой линии с приложением к цепным мостам” награжден студент 3-го курса Сухово-Кобылин золотой медалью. Сей студент на репетициях и годичных экзаменах оказал отличные успехи». В числе лучших студентов его отмечали в отчетах каждый год.

В университете Сухово-Кобылин сошелся с Константином Аксаковым, хотя они были во многом чужды друг другу. В одной из записок Аксакову он писал: «Так как мы всегда находились с тобой на

---

\* В те времена в университет можно было поступить после окончания гимназии или, как Сухово-Кобылин, занимаясь с домашними учителями и сдав экзамены за гимназический курс. (Прим. ред.)

противуположных полюсах, то я и теперь удерживаю свое положение относительно тебя. Ты много пишешь — я мало, ты много думаешь — я очень мало, ты весьма много чувствуешь — я ничего».

Аксакову претили в Сухово-Кобылине его аристократический лоск в манерах, его независимость и гордость за свой древний род, его французский язык, на котором он изъяснялся в аудиториях, в то время как «русский язык был единственным языком студентским», его щегольской мундир, в котором он появлялся повсюду (не носить мундир студента в пику университетскому начальству считалось в кругу Аксакова признаком вольнодумия).

С другой стороны, Сухово-Кобылину было глубоко чуждо всё, чем восторгался Аксаков. «Веселое товарищество, не справляющееся ни о роде, ни о племени, ни о богатстве, ни о знатности», Александр Васильевич презирал; «чувство равенства, которое давалось университетом и званием студента», он не испытывал; в «уходах скопом» с лекций Декампа не участвовал; восхищения «студенческого братства» отвагой штатного университетского шута Заборовского, выпускавшего воробьев на лекциях Победоносцева, не разделял и, наконец, обходил стороной аксаковский кружок, или «союз», где «вырабатывалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу» и т. д. Впоследствии в своих дневниках он иронично называл «китайцами» славянофилов, лидером которых стал Аксаков, и записных патриотов.

Дружба их закончилась полным разрывом. Причиной этому послужил нашумевший любовный роман профессора Московского университета Николая Ивановича Надеждина и старшей сестры Сухово-Кобылина Елизаветы Васильевны. В 1830-х го-

дах дом Кобылиных был популярным в Москве салоном, где собирались ученые и литераторы: историк Погодин, юрист Морошкин, критик Шеверев, этнограф Максимович, издатель «Вестника Европы» Каченовский, поэт и переводчик античной литературы Раич, публицисты Огарев, Герцен, врач и переводчик Шекспира Кетчер. Руководил кобылинским салоном Надеждин, который был домашним учителем в семье Сухово-Кобылиных. Елизавета Васильевна, впоследствии писательница, известная под псевдонимом Евгения Тур, была воспитанницей Николая Ивановича. И вот между ней и ее учителем обнаружилась тайная любовная переписка. Мария Ивановна, мать драматурга, перехватила письма у младшего сына Ванюши, исполнявшего роль почтальона влюбленных. Елизавета Васильевна уже обещала Надеждину свою руку и даже подарила своему избраннику в знак любви золотое кольцо, что также стало известно семье. Поднялся скандал. В дневниках, предназначенных для Надеждина, Елизавета Васильевна так описывает эти события:

«Маменька говорила:

— Не выйдешь по своей воле замуж!

Пришел папенька, спросил, что такое, ему сказали — и началась история:

— Кого тебе надобно?! Этого... я ему голову оторву!

Я ответила:

— А в Сибирь.

— Позвольте мне идти в Сибирь! — сказал, вскочив бледен, как снег, а глаза, как угли, брат мой. — Чтоб только имя Сухово-Кобылиных...»

Дальнейшие слова брата Елизавета Васильевна не решила передать Надеждину, объяснив, что

не хочет его огорчать, так как Александр выражался слишком резко.

Вскоре между Надеждиным и Марией Ивановной состоялось объяснение. Кобылина потребовала от учителя прервать все отношения с дочерью, угрожая в случае отказа крупными неприятностями. Разговор, записанный со слов Надеждина его биографом Николаем Козминым, был крутой и откровенный:

— Подумайте, что вы дорого можете заплатить.

— Как?

— У этой дуры есть отец, брат, дядя, они могут всадить вам пулю в лоб!

— Пусть стреляют и застрелят. Жизнь никогда не имела для меня цены.

— Извините, у нас нет убийц. Вас заставят стреляться.

— У меня другие понятия о чести — понятия плебейские. Ни в брата, ни тем более в сына вашего я стрелять никогда не буду.

Негодование Марии Ивановны усугублялось чувством ревности. Надеждин был долгое время страстно влюблен в мать Сухово-Кобылина, женщину весьма привлекательную. Ее жестокость и деспотизм, о которых так увлеченно пишет в мемуарах Феоктистов, никак не отражались на миловидной внешности; передовые профессора возмущались тем, что Мария Ивановна могла отложить французский роман, над которым минуту назад проливали слезы, и взять хлыст, чтобы наказать старого камердинера, что не мешало им быть очарованными этой московской амазонкой, разъезжавшей по городу верхом в мужском костюме и курившей гаванские сигары. Надеждину она ответила взаимностью, требуя от него свиданий, объ-

яснений в любви, уверений в преданности, клятв, слез и страданий (в чем домашний учитель и не отказывал). Разумеется, что все эти знаки любви, милые женскому сердцу, Мария Ивановна не желала делить с дочерью. Нет сомнения, что «пулю в лоб» она сулила Надеждину как неверному любовнику.

Тем временем по городу поползли слухи, будто «бедный профессор ищет богатой невесты». По утверждению Аксакова, слухи эти поддерживал Александр Кобылин, который «своими едкими замечаниями подливал масла в огонь, разжигая вражду к Надеждину».

У Александра Васильевича были некоторые основания горячиться: по свидетельству биографа, Надеждин одно время «испытывал род какого-то тайного отвращения» к Елизавете Васильевне, чего и не скрывал.

Тем не менее заявления Сухово-Кобылина, семнадцатилетнего юноши, напитанного, по словам Аксакова, «лютейшею аристократией», были крайне резки и оскорбительны для Надеждина.

— Семинарист и попович Надеждин, хотя и достигший профессорского звания, — говорил он, — не пара молодой, знатной и богатой девушке.

В студенческой среде, где Надеждина боготворили — главным образом за то, что он, как пишет Аксаков, «был очень деликатен со студентами, не требовал, чтобы они ходили на лекции, и вообще не любил никаких полицейских приемов», — подобные заявления студента Кобылина вызывали бурю дружного негодования.

В довершение всего Сухово-Кобылин в одном из разговоров с Аксаковым сказал буквально следующее:

— Если бы у меня дочь вздумала выйти замуж за неравного себе человека, я бы ее убил или заставил умереть взаперти.

После этих слов Аксаков окончательно рассорился с Кобылиным. Но тот не унимался, он действительно потребовал, чтобы сестру держали взаперти под домашним надзором. А сам между тем, наблюдая Надеждина, едко замечал: «Он спокоен, посещает театры, печатает в “Молве” отчеты об игре Каратыгина, ему и дела мало, что всецело доверившаяся ему девушка переживает тяжкие мучения».

Надеждин конечно же не был спокоен и мучился не меньше, чем узница на Страстном бульваре в доме 9. Страдания профессора усугублялись еще тем, что он должен был встречаться с Александром Кобылиным в университете.

«В понедельник я, может быть, явлюсь на лекции, — записывает Надеждин в дневнике. — Надо дать экзамен студентам по моим предметам. Что делать! Соберу все силы, я должен буду увидеть Александра и экзаменовать его, это пытка».

История могла бы завершиться благополучно-романтически. Но не судьба. Друг Надеждина Николай Христофорович Кетчер вызвался помочь влюбленным и устроить их счастье. Однако переводчик Шекспира непременно хотел, чтобы всё развивалось по драматургическим законам: чтобы обязательно был побег в глухую ночь со страстными клятвами, тайными знаками, эффектными одежаниями и венчанием сонным батюшкой в деревенской церквушке. Елизавету Васильевну решили похитить. Условились, что Надеждин и Кетчер в полночь придут на Страстной бульвар и будут ждать на лавочке напротив кобылинского дома за-



ветного сигнала. Кетчер по такому случаю вернулся в черный плащ на красной подкладке, надел широкополую шляпу и явился к месту встречи в приподнятом настроении. Надеждин, впрочем, был в самом будничном расположении духа и без плаща. «Знак долго не подавали, — рассказывает Герцен в «Былом и думах». — Надеждин уныл и пал духом. Кетчер стоически утешал его — отчаяние и утешения подействовали на Надеждина оригинально: он задремал. Кетчер насупил брови и мрачно ходил по бульвару. “Она не придет, — говорил Надеждин спросонья, — пойдемте спать”. Кетчер вдвое насупил брови, мрачно покачал головой и повел сонного Надеждина домой. Вслед за ними вышла и девушка в сени своего дома, и условленный знак был повторен не один, а десять раз, и ждала она час-другой; всё тихо, она сама — еще тише — возвратилась в свою комнату, вероятно, поплакала, но зато радикально вылечилась от любви к Надеждину. Кетчер долго не мог простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, с дрожащей нижней губой, говорил: “Он ее не любил!”».

После этого случая, который стал известен всему свету, Александр Васильевич настоял, чтобы сестру увезли в Крым. В поездке ее сопровождал будущий шеф цензурного ведомства Евгений Михайлович Феокистов. Через несколько лет Елизавету Васильевну выдали замуж за французского графа Салиаса де Турнемира, который, по определению Феокистова, представлял собой самое жалкое ничтожество; это был «пустейший хлыщ, очень кичившийся своим титулом, хотя его захудалая фамилия не пользовалась почтением во Франции; он вступил в брак с Елизаветой Васильевной един-

ственно потому, что имел в виду порядочное приданое».

С Александром Васильевичем графиня оставалась всю жизнь в натянутых отношениях и отзывалась о нем недружелюбно. Да и он не жаловал сестру. Когда французский граф промотал в России приданое Елизаветы Васильевны в 80 тысяч рублей серебром (четверть миллиона на кредитные билеты) и сбежал за границу, подальше от гнева грозного шурина, оставив ему прогоревшие заводы шампанских вин и двух малолетних племянников в утешение, Александр Васильевич, распоряжавшийся всем достоянием рода, отказался выдать сестре дополнительные средства к существованию на том основании, что девушка, получившая приданое, считается отделенной от семьи. Графиня Салиас де Турнемир вынуждена была зарабатывать на жизнь литературным трудом и на этом поприще сделала себе довольно громкое имя. Ее первая повесть «Ошибка» имела значительный успех, а литературный салон Евгении Тур в середине XIX века был широко известен и популярен. «В ее маленькой квартирке, — вспоминает Феокистов, — можно было постоянно встретить Грановского, Кудрявцева, И. С. Тургенева, В. П. Боткина, А. Д. Галахова».

Окончив курс наук в Московском университете и удостоившись «за отличные успехи и поведение» степени кандидата\* философского факультета, Александр Васильевич отправился за границу. Год он жил в Италии, где «на высотах Альбано зачитывался Гоголем до упаду». Затем уехал в Германию и

---

\* В дореволюционной России существовали ученые степени действительного студента, кандидата университета, магистра и доктора. (*Прим. ред.*)

там два года изучал гегелевскую философию — слушал в Берлинском и Гейдельбергском университетах лекции гегельянцев Георга Габлера и Карла Вердера. В 1841 году он поселился в Париже, где его привлекали главным образом театры.

Страсть к театру была у Сухова-Кобылина в крови. Его дед, выксунский властелин Иван Дмитриевич Шепелев, прозванный за свою жестокость и деспотизм Нероном Ардатовского уезда, имел в собственности великолепный театр. По воспоминаниям современников, это был один из лучших провинциальных театров России. Иван Дмитриевич содержал многочисленный оркестр, сформированный из именитых столичных музыкантов, покупал отменные декорации и костюмы, оборудовал сцену первоклассной техникой. На Выксе ставились не только драмы и комедии, но и оперы, а также балеты. Балетмейстером Выксунского театра был одно время Иогель, известный тогда в России учитель танцев. Сам Иван Дмитриевич, обладавший хорошим баритоном, исполнял в некоторых операх главные партии. Театр для него был превыше всего. Однажды во время спектакля к нему в ложу прибежал перепуганный до смерти управляющий и сообщил, что чугунная плавка прорвала доменную печь — горят заводы. Ни один мускул на лице магната не дрогнул. Он приказал управляющему не говорить никому о пожаре, чтобы не нарушить переполохом хода представления, и сам досмотрел спектакль до конца с большим воодушевлением, которое обошлось ему в полмиллиона рублей серебром. Любовь к театру не помешала, однако, уездному Нерону жестоко расправиться с капельмейстером своего оркестра — бедняга был посажен на кол за то, что позволил себе ухаживать за фаворит-

кой театральной труппы, любовницей хозяина. Дед драматурга был настолько увлеченным театралом, что и жизнь его мало чем отличалась от театральных представлений. Воображая себя султаном, он носил турецкий костюм и чалму и принимал гостей, восседая на троне. В султанском же одеянии он совершал торжественные шествия по Ардатовскому уезду Нижегородской губернии, сопровождаемый толпой лакеев, наряженных в турецких воинов. Среди пшеничных полей Иван Дмитриевич раскидывал пестрые шатры и, окруженный одалисками, пировал дни и ночи напролет, разыгрывая роль восточного властелина.

Парижская модистка, с которой Александр Васильевич случайно познакомился в ресторане, оказалась женщиной деликатной, умной, не лишенной светских манер; к тому же она была чрезвычайно привлекательна внешне: белокурая, голубоглазая, хорошо сложенная, со вкусом одетая. Она понравилась русскому барину. Александр Васильевич водил Луизу с собой по театрам, удивляя ее прекрасным знанием города и французского жаргона, когда приходилось с бою брать билеты в кассах дешевых бульварных театриков, где место в партере стоило всего два франка и где на афишах стояло неизменное добавление: «Шутка, пародия, шарж». Он любил дешевые театрики. Привилегированному «Одеону», куда ездили пары Франции и королевская фамилия, он предпочитал балаганы на Вандомской площади, где каждый вечер под шарманку и фейерверки разыгрывался народный фарс. Он посещал театр «Жимназ» на бульваре Бон-Нувель, где ставились комедии Эжена Скриба, был постоянным зрителем в театрах «Гете», «Водевиль», «Варьете» на бульварах дю Тампль и Монмартр, где блистал ко-

мик-виртуоз Пьер Левассор и где «бесподобный», по мнению Александра Васильевича, Мари Буффе, рассыпаясь в ужимках и восклицаниях, заставлял толпу в одну минуту рыдать и содрогаться от смеха.

Потом, сидя в тюрьме у Воскресенских ворот и макая перо в казенную чернильницу, Александр Васильевич будет вспоминать этого великого комика.

— Я писал «Свадьбу Кречинского», — говорил он в интервью корреспонденту «Нового времени» Юрию Беляеву, — и всё время вспоминал парижские театры, водевили, Буффе.

И сам удивлялся:

— Каким образом я мог писать эту комедию, стоя под убийственным обвинением и требованием взятки в пятьдесят тысяч, я не знаю, но знаю, что написал Кречинского в тюрьме, на гауптвахте у Воскресенских ворот.

Здесь надо заметить, что с тех пор как в желудке статского советника Лебедева канул злополучный билет Опекунского совета, сумма требуемой взятки неуклонно возрастала: частный пристав Редькин запросил уже 20 тысяч, а следователь Троицкий — 30. Когда же за дело взялись «особые», «тайные» и «чрезвычайные» следственные комиссии, с Александра Васильевича потребовали 50 тысяч. Но он не дал. Тогда он еще не постиг горькую мудрость, которую озвучил потом устами Кречинского, писавшего помещику Муромскому:

С Вас хотят взять взятку — дайте; последствия Вашего отказа могут быть жестоки... Откупитесь! Ради бога, откупитесь. С Вас хотят взять деньги — дайте! С Вас их будут драть — давайте!

*«Дело», действие первое, явление I*

— А в тюрьме было превесело, — говорил Александр Васильевич журналистам, будучи уже восьмидесятилетним стариком, — доказательством вам то, что там я написал лучшие сцены Кречинского.

Эти дни, проведенные с Луизой в парижских театрах, были счастливейшими днями его жизни, судя по тому, что он вспоминал их в тяжкие месяцы ареста, в ожидании страшного приговора, в тюрьме «об стену с ворами», где было не так уж весело, как это казалось спустя сорок с лишним лет. Его дневники и письма начала 1850-х годов наполнены скорбью и отчаянием.

Подошло время уезжать из Парижа. В России ждали неотложные дела, нужно было устраивать имения, вникать в управление выксунскими заводами. Александру Васильевичу грустно было расставаться с Луизой. В последний вечер перед отъездом он говорил ей:

— Приезжайте в Россию. Я помогу вам найти отличное место. Я дам вам рекомендацию к лучшей портнихе в Москве. Приезжайте... я буду вас ждать.

Он тут же написал рекомендательное письмо госпоже Мене, приложил к нему тысячу франков «на дорожные издержки», попрощался, сел в экипаж и уехал, сожалея, впрочем, что не уговорил Луизу ехать в Москву сейчас же, вместе с ним.

---

---

## ГЛАВА ВТОРАЯ

*После жизни в Париже я продолжал светскую жизнь до жестокого дня 7 ноября 1850 года. Это была жестокая точка поворота меня в меня самого.*

А. В. Сухово-Кобылин.  
Черновик автобиографии

Вернувшись в Россию, Александр Васильевич нашел в полном здравии своих прежних друзей, известных всей Москве донжуанов, игроков и авантюристов, среди которых были князь Лев Гагарин и двоюродный брат Герцена Николай Голохвастов. Играя ночи напролет, они уже успели разорить свои имения, сделать многотысячные долги, заложить ростовщикам фамильные бриллианты и снова разбогатеть на счастливой карте. Они с легкостью проматывали в три дня состояния, женились на богатых купчихах, чтобы на следующий день прокутить в столице всё их приданое, делали предложения французским актрисам и, пользуясь их незнанием православных обрядов, заказывали вместо венчания панихиду, после чего счастливые французки считали себя законными женами русских князей.

Как и в прежние университетские годы, Александр Васильевич, окруженный этими повесами, с удовольствием расточал время на светских раутах,

за карточным столом, на ипподромах и в доме Голохвастова, где устраивались шумные обеды, балы, спектакли и ночные кутежи, на которых, как пишет Герцен, «вино лилось и музыка гремела».

В светской жизни Сухово-Кобылин блистал и добивался успеха, как и во всём, за что бы он ни брался. В 1842 году он стал лучшим жокеем России, выиграв на первой «джентльменской» скачке в Москве главный приз: обогнал дотоле непобедимого петербургского жокея Демидова, который был настолько уверен в успехе, что перед скачкой зашел в судейскую беседку узнать, кто поднесет ему приз. Кобылин оставил его позади на полкруга. «Выигрыш первого ездока-охотника из дворян, — писали газеты, — был приветствован обществом и публикой восторженно». В честь этого события на всех ипподромах России был учрежден приз имени Сухово-Кобылина, а какой-то французский художник изобразил победителя на акварельном портрете: в шегольской жилетке, узких панталонах и жокейской кепке он скачет на красивом гнедом жеребце по финишной прямой; взгляд у «ездока-охотника» злой и сосредоточенный. Портретик этот много лет кочевал по страницам всевозможных охотничьих журналов и газет Москвы, Петербурга и Парижа.

Впоследствии Сухово-Кобылин завел в своем имении конезаводы, которые смог поставить так, что они считались лучшими в России. Его лошади выигрывали призы на крупнейших ристалищах Европы.

В письме Муромскому («Дело») Кречинский говорит: «Может, и случилось мне обыгрывать проматывающегося купчика или блудно расточающего родовое имение дворянина, но детей я не трогал,



сонных не резал...» (По одной из версий следствия, Деманш была зарезана сонной в постели.)

Случалось и Александру Васильевичу обыгрывать дворян и купчиков. Игроком он был отчаянным: играл не по мелочи — на деревни и вотчины. По свидетельству его крестьян, в карты он выиграл родовое имение графа Антонова деревню Захлебовку, которая находилась по соседству с тульской Кобылинкой. «Таким же образом барин приобрел еще часть земли у других помещиков», — вспоминали крестьяне.

Да, но вот «сонных не резал». Общественное же мнение единодушно утверждало — резал! И ссылались при этом на «грехи его молодости», на купчиков и дворян, которым он действительно «резал горло» за ломберным столиком какой-нибудь счастливой картой.

От карт, ипподромов, фехтования и пикников Александра Васильевича отвлекали коммерческие занятия. Намереваясь поправить состояние семьи, частью потраченное им самим и его сестрами в заграничных поездках, частью пошатнувшееся стараниями эксцентричного деда, развеявшего сотни тысяч в театральных разгулах по Ардатовскому уезду, Александр Васильевич предпринимает поездку в Томск с целью приобрести там золотые прииски и начать новое дело.

«Может быть, именно это путешествие, — пишет он сестрам из Томска, — явится залогом нашего благоденствия».

Залогом благоденствия оно не явилось. В первой половине своей жизни до рокового перелома в ночь на Михайлов день 1850 года Сухово-Кобылин неохотно и неумело занимался хозяйственной и коммерческой деятельностью. Позднее, после тра-

гических событий, резко переменивших его судьбу, он будет опьяняться работой, находить в ней радость, забвение и утешение. В 1850-х годах он с жадной и горячностью станет набрасываться на всякое дело, с пылом возводить заводы, мельницы, лесопильни, винокурни, с упоением и воодушевлением говорить о них.

А тогда упоения не было.

«Я объездил золотые прииски, — пишет он уже в следующем письме из Томска. — Здесь всё живет только для денег. Нажива единственный двигатель, и все души здесь черны, сухи и отталкивающие. Общества и собрания представляют нечто столь колоссальное по глупости, что можно было бы умереть от смеха, если бы не умирали от скуки. Словом, к черту их — не хочу больше о них говорить».

Этим всё его предпринимательство и ограничилось. Приисков он так и не купил.

Весь год по возвращении из Парижа Александр Васильевич не забывал своей «милой Луизы». Напротив, всё больше тосковал о ней. Он то и дело заезжал в магазин к госпоже Мене справляться, не поступала ли на службу француженка по имени Луиза Деманш. Просил, если она появится, тотчас же сообщить ему.

Приехав в Россию 6 октября 1842 года, Луиза не спешила воспользоваться рекомендацией Сухово-Кобылина. Она осталась в Петербурге и устроилась модисткой в магазин портнихи Андрие на Невском проспекте.

Луиза надеялась разбогатеть, торгуя модными шляпками в Северной столице, и явиться к «русско-

му боярину» со своим капиталом. Но торговля в Петербурге не принесла ей ничего, кроме долгов. В декабре она оставила магазин Андрие и решила ехать в Москву.

Не объявляясь Александру Васильевичу, Луиза остановилась у своей соотечественницы Эрнестины Ландрет, с которой познакомилась в магазине Мене. Квартирu для Эрнестины в Газетном переулке снимал брат поэтессы графини Ростопчиной гвардии поручик Сергей Петрович Сушков, впоследствии неоднократно привлекавшийся свидетелем по делу об убийстве Деманш.

Эрнестина и сообщила Александру Васильевичу о приезде Луизы.

Счастливый и возбужденный, он помчался в Газетный переулок.

«Зима. Первое сладостное свидание с Луизой, — записал он в дневнике. — Я приехал за нею в санях. Она вышла. Я ее посадил в сани и... какая досадная эта зима — эта шуба...»

О том, чтобы Луиза работала модисткой, уже не было и речи.

— К черту госпожу Мене! К черту шляпки! — восклицал Александр Васильевич. — Я сделаю вас настоящей русской купчихой! Не смейтесь!.. Вы будете сидеть на пуховых подушках, пить чай из самовара и бранить кредиторов, я научу вас, как с ними разделяться в два счета: эй, там, кто-нибудь, гоните их в шею!.. Я люблю вас, Луиза, я не знаю, как прожил весь этот год без вас...

На следующий же день Александр Васильевич снял Луизе квартиру в доме Засецкого на Рождественке. Но этого ему показалось мало, и он арендовал для француженки весь первый этаж дома графа Гудовича — со спальнями, кабинетом, просторной

гостиной, кухней, погребом и конюшней. Дом Гудовича находился в самом центре Москвы на углу Тверской и Брюсова переулков, в двух шагах от дома военного генерал-губернатора. Кобылин дал Луизе в прислугу дворовых девок Аграфену Кашкину, Пелагею Алексееву, Василису Егорову и Настасью Никифорову. Он отрядил к ней лучшего своего повара Ефима Егорова, прошедшего школу в Петербурге на кухне Дашкова, трех кучеров и мальчика-рассыльного.

С азартом и воодушевлением занялся Александр Васильевич покупками для Луизы и обустройством ее апартаментов.

«Я набрал и накупил какой-то мебели, — пишет он в дневнике. — Постели поставили в большой комнате; за нами ходил камердинер, страшно напивался пьян, ухал и пугал Луизу».

Восемь лет спустя, перечитывая показания свидетелей по делу об убийстве Деманш, дневники и письма Кобылина, обер-прокурор Лебедев отметит в своих «Записках»: «Грустно видеть этого даровитого Сухово-Кобылина, поглощенного интригами, и этих крепостных, отданных господином в рабство своей французской любовнице».

Принадлежность к одной из самых древних и знатных фамилий русского дворянства не позволяла Александру Васильевичу жениться на «безродной иностранке». Против этого брака восстала бы вся его семья. Впрочем, с мнением семьи и всего высшего света он бы не посчитался, если бы решил сделать Луизу своей женой. Но он сам был лютым стражем чистоты своей аристократической фамилии, унаследованной, по семейной легенде, от боярина времен Ивана Калиты, тевтонского рыцаря

Андрея Кобылы\*. У него, последнего представителя рода Сухово-Кобылиных (о судьбе его несчастного младшего брата речь пойдет ниже), чувство дворянской гордости было в высшей степени обостренным. Во славу своего рода и с тоской о его былом величии он организовал в Кобылинке музей, где свято хранил семейные реликвии и документы — «государей моих жалованные грамоты». Об этом музее писали газеты, его посещали любители русской старины.

— Мы, Кобылины, могучий род! — любил говорить он.

Судьба в ответ послала ему клеймо страшного обвинения, тюрьму и разорение; обрушила на Кобылинку свирепый пожар, испепеливший родовую усадьбу и смешавший с прахом рескрипты царей, и, завершая тяжбу с ревнителем последних оплотов «могучего рода», обрекла его на старость без семьи и потомства и уготовила смерть на чужбине в одиночестве и забвении.

«Странная, странная судьба!»

Оставив магазин Мене, Луиза приняла русское подданство и стала именоваться московской купчихой Луизой Ивановной Симон-Деманш. Алек-

---

\* На самом деле Андрей Кобыла упоминается в летописях лишь однажды, под 1347 годом, то есть спустя семь лет после смерти Калиты. Его происхождение неизвестно; гораздо позднее появилась легенда, что к Александру Невскому «из немец» выехал потомок прусского короля Гланд (в православии Иван) Камбила, а его сына стали называть переделанным на русский лад прозвищем Кобыла. Исследователи полагают, что основатели рода были или природными новгородцами, или костромичами. (*Прим. ред.*)

сандр Васильевич снабдил ее капиталом в 60 тысяч рублей серебром и открыл на ее имя торговлю шампанскими винами со своих заводов, находившихся в селе Хорошеве под Москвой, а также мукой, медом, сахаром, патокой и прочими бакалейными товарами, поставлявшимися в изобилии из его родовых имений в Тульской, Нижегородской, Владимирской, Московской и Тверской губерниях.

Вскоре Луиза стала управлять многими коммерческими делами и предприятиями Кобылиных. Она с успехом представляла интересы дворянского семейства в купеческом мире.

Француженка сумела расположить к себе всех родственников Кобылина, которые, как пишет Феокистов, «убедились, что ею руководит искреннее чувство, а не какой-нибудь корыстный расчет». Луиза была посвящена во все торговые и финансовые операции не только Александра Васильевича, но и его зятя (мужа младшей сестры) Михаила Петрово-Соловова и кузена Ивана Шепелева — крупнейших московских коммерсантов, которые доверяли ей без расписок огромные суммы, ценные бумаги, документы и золото.

Мать Александра Васильевича и его сестры Софья и Елизавета испытывали к француженке необыкновенную привязанность. Они называли Луизу «доброй и прекрасной женщиной». Для них она была преданным другом, доверенным лицом, милым и приятным собеседником. Без участия и совета парижской модистки сестры Кобылина не делали ни одной даже самой мелкой покупки — салопы, пелеринки, шляпки... Авторитет Луизы во всех семейных делах был настолько велик, что даже Мария Ивановна, обладавшая неограниченной властью в доме, не обходилась без ее помощи, когда нужно

было оказать влияние на сына. В одном из писем она просила француженку уговорить Александра не оставлять службу в канцелярии генерал-губернатора, которая давала бы ему возможность баллотироваться на пост губернского предводителя дворянства. Но здесь Александр Васильевич был непреклонен: в 1849 году он вышел в отставку в чине титулярного советника. При этом он заявил:

— У меня и на могиле будет надпись: никогда не служил!

Через Луизу же Мария Ивановна пыталась смягчить крутой нрав сына. Она не раз говорила француженке:

— Остерегайте его, Луиза. Он неучтив и груб с людьми, с которыми имеет дело, и в особенности с кредиторами.

Александр Васильевич попросту имел обыкновение гнать кредиторов в шею. Этой своей чертой он потом наделил своего персонажа Кречинского.

— Михайло Васильич, извозчик пришел! Он там, сударь, просит денег.

— В шею!.. <...>

— Михайло Васильич, прачка пришла: денег просит.

— В шею! <...>

— Михайло Васильич, вон дровяник тоже часа два стоит.

— Да ты с ума сошел, что ли? дела не знаешь?..

Что ты лезешь ко мне с пустяками?

*«Свадьба Кречинского»,  
действие второе, явление VIII*

Позднее, когда к Сухово-Кобылину пришла литературная слава, его неучтивость стала в театральной среде притчей во языцех. С директором Импе-

раторских театров Александром Михайловичем Гедеоновым, с которым опасались ссориться актеры и драматурги обеих столиц, он не церемонился. Однажды в присутствии министра двора графа Адлерберга он взял Гедеонова за ворот и, по собственному выражению, «под кулаком у носа» заставил сознаться в подлоге документов, в результате которого драматург лишился гонорара за «Свадьбу Кречинского».

Луиза, сколько могла, старалась влиять на Александра Васильевича и, как видно, не без успеха.

«Так уж, видно, суждено, сударыня, — писал ей Сухово-Кобылин, — что Вы всегда будете иметь перевес надо мной и что Ваша маленькая белокурая головка будет упрямей моей огромной головы».

Александр Васильевич старался скрыть, насколько это было возможно, свою любовную связь с француженкой. Он ограничил круг ее знакомств и никогда не появлялся с ней в свете. Вечера она проводила с Эрнестиной Ландрет и поручиком Сушковым, которые были самыми близкими ее друзьями в Москве. Иногда Луиза выезжала в подмосковное имение Кобылина — село Хорошево. Там она гостила у своих соотечественников — семейства Кибер и у Иосифа Алуэна-Бессана, управляющего кобылинскими фабриками шампанских вин. В Москве она часто посещала своего духовного наставника аббата Кудера, искренне привязанного к ней. Не исключено, что священнику были известны многие подробности, связанные с историей трагической гибели его прихожанки. Во всяком случае, сведения, сообщенные Кудером в отчете о погребальной церемонии, который он представил по требованию генерал-губернатора сразу после того, как отслужил в костеле Святого Людовика заупокойную мес-



су по Луизе Деманш, дали Закревскому основания полагать, что убийство француженки было заранее и хладнокровно подготовлено Сухово-Кобылиным и близкими к нему лицами из высшего света.

Александр Васильевич ежедневно посылал Луизе на расходы довольно крупную сумму — три золотых полуимпериала (50 рублей кредитными билетами, что равнялось месячному жалованью учителя гимназии). Деньги приносил по утрам его камердинер Макар Лукьянов, который объявлял Луизе, намерен ли барин быть у нее к обеду или к завтраку. Встречи с Деманш давали Сухово-Кобылину иллюзию «жизни тихой, домашней, жизни замкнутой в своем кругу», видимость семейного счастья, которое он ставил выше всякого другого и которое судьба трижды разрушит безжалостно и коварно.

Его родные очень дорожили заботливостью Луизы и преданностью ее Александру Васильевичу. Они окружали ее трогательным вниманием. Мария Ивановна выписывала для француженки собачек ее любимой породы кинг-чарльз спаниель из Англии и пушистых котят из Сибири. Сестра Сухово-Кобылина Софья, талантливая художница, первая русская женщина, удостоившаяся золотой медали Академии художеств за крымские пейзажи, дарила ей свои картины, которыми Луиза украшала гостиную дома Гудовича.

— Образ ее жизни, — говорил Александр Васильевич на допросе, — был самый скромный, наполненный домашними занятиями, довольно правильный, при самом малом числе знакомых.

Феоктистов в мемуарах утверждает, что Луиза не могла быть довольна своей судьбой, потому что Кобылин часто изменял ей. Что ж, в этом цензор был

прав. Француженка не раз устраивала любовнику бурные сцены, но до полного разрыва дело никогда не доходило, так как каждое его увлечение длилось недолго и он все-таки возвращался к ней.

Симон-Деманш была натурой пылкой, страстной, способной любить до самозабвения, до беззаветной преданности.

— Она всегда изъясляла ревность к тем домам, куда я часто ездил, ко всем, с кем я был близко знаком, — объяснял Александр Васильевич следователям. — Ревность эта, однако, никогда не выходила за пределы обыкновенной шутки, подшучивания, иногда просьбы, чтобы часто в такой-то дом или к такой-то не ездил.

Луиза, конечно, не склонна была шутить, когда речь шла о неверности Александра Васильевича.

— Иногда случалось, — показывала на допросе горничная француженки Аграфена Кашкина, — что она с Кобылиным что-то крупно говорила, и Кобылин, случалось, что как бы с сердцем хлопнет дверью и уйдет.

Друзья Сухово-Кобылина, знавшие его в молодости, пишут, что он «был блестящим, подвижным человеком, увлекался женщинами и, в свою очередь, увлекал женщин».

Александр Васильевич обладал демонической властью над слабым полом. Женщины буквально осаждали его, и он поражал их сердца. Сцены из его комедии, где слуга Федор описывает молодость Кречинского и отношение женщин к своему барину, полностью автобиографичны:

— И ведь он целый век всё такой-то был: деньги — ему солома, дрова какие-то. Еще в университете кутил порядком, а как вышел из университе-

ту, тут и пошло, и пошло, как водоворот какой! Знакомство, графы, князья, дружество, попойки, картёж. <...>Теперь: женский пол — опять то же... Какое количество у него их перебивало, так этого и вообразить не можно! По вкусу он им пришелся, что ли, только просто отбою нет. Это письма, записки, цидули всякие, а там и лично. И такая идет каша: и просят-то, и любят-то, и ревнуют, и злобствуют. Власть имел, просто власть.

*«Свадьба Кречинского», действие второе, явление I*

Вот строки из «писем, записок, цидуль», изъятых следователями из бумаг Сухово-Кобылина и предъявленных ему во время допросов в Мясницкой части у Воскресенских ворот, где он писал «Свадьбу Кречинского», извлекая слова и образы для комедии из материалов собственного дела:

«...Клянусь тебе, нежный дорогой друг, я твоя навеки. Никакое сердце не будет биться на моем: ничьи губы не сотрут следы твоих поцелуев...»

«...Я спрашиваю Вас, любите ли Вы другую? Ради бога, объяснитесь откровенно, не заставляйте еще одну женщину томиться к Вам любовью слишком долго...»

«...Ты знаешь, что я люблю тебя вопреки всем. В твоих руках более чем моя жизнь и честь... Я вовсе не упрекаю тебя, мой друг, сохрани меня Господи от этого. Напротив, я благодарна тебе за те счастливые дни, которые я провела с тобою и которые надеюсь провести с тобою. Давай обманывать свет...»

«...Пишу к Вам последний раз, Александр. Обдумав равнодушие, которое Вы оказывали мне в последнее время, я решила сказать Вам, что связь наша прекращена навсегда. Прощайте... трудно выговорить это слово после четырехлетней любви к Вам...»

«...Ответьте мне, именем матери, именем брата моего, умершего мучеником, правда ли, что Вы женаты? На ком?..»

Александр Васильевич конечно же хорошо понимал, для чего крючкотворы из Мясницкой части беспрестанно выкладывали перед ним эти письма и упорно требовали «указать фамилии барышень». Если бы им удалось втянуть в дело всех писавших ему женщин, одной из которых, некой Полине (той, что предлагала «обманывать свет»), было всего 17 лет, то это фантастически расширило бы возможность брать взятки с дворянских семейств за обещание не предавать огласке открывшиеся факты и не докладывать о них по начальству. Но разработать еще одну золотоносную жилу следователям не удалось. На полях этих записок Александр Васильевич написал своим заостренным почерком, мешая русские буквы с латинскими (это было для него характерно, когда он писал что-либо в волнении): «Почерк руки мне неизвестен, когда и кем писаны, не знаю».

...девочек на удилице судопроизводства не ловил.

*«Дело», действие первое, явление I*

Луиза ревновала Сухово-Кобылина по-женски безрассудно, не только к коротко знакомым ему дамам, но и ко всем его делам, друзьям, балам, обедам, ипподромам, фехтовальным залам — словом, ко всему, что хоть на час отнимало у нее Александра Васильевича.

«Любезный Александр, — писала она (вся их переписка шла на французском). — Я узнала, что ты сегодня обедаешь в городе. Мне очень жаль, я

надеялась провести с тобой несколько часов нынешнего вечера. Я очень грустна и очень нездорова. Если у тебя есть свободная минута, заезжай, пожалуйста, ко мне. Я очень буду тебе за то благодарна. Прошу тебя, не откажи мне в этом, потому что я очень несчастна. Целую тебя и жму твои добрые руки. Преданная тебе Луиза».

В ответ на выразительные и полные чувства письма Деманш Александр Васильевич посылал ей с камердинером короткие и сдержанные записочки:

«Любезная маменька (он в шутку называл ее маменькой. — *В. О.*), все уехали. Приезжай ко мне пить чай. Я поеду на вечер в девять часов с половиною».

Луиза использовала любой повод и прибегала к разного рода хитростям, чтобы только залучить к себе Александра Васильевича:

«Любезный Александр. Сделай одолжение, заезжай ко мне. Мне нужно с тобой переговорить о том, где заказать горностаевую пелеринку для твоей сестры Лизы. Я ничего не могу сделать, не видав тебя. Прощай, до свидания. Искренне жму тебе руки. Луиза».

Александр Васильевич, разумеется, понимал, что дело вовсе не в пелеринках, и иногда проявлял снисхождение:

«Любезный друг, я посылаю за твоими вещами и за твоей особой, всё готово, и мы поедem ко мне. Приезжай, я жду тебя пить чай».

В записках Сухово-Кобылина Луизе были особые, как это обычно водится у любовников, только им понятные выражения, своего рода иносказания, вроде этого «пить чай». Потом, когда следователи Мясницкой части, сенаторы, обер- и генерал-про-

курор начнут подробно изучать его любовную переписку, приобщенную к делу, одно из таких выражений, а именно — «пронзить кастильским кинжалом», будет понято ими буквально и выдвинуто в качестве очень серьезной улики против Сухово-Кобылина.

На допросах многие свидетели говорили о Луизе, что она была «нрава пылкого и нетерпеливого».

Пылкий и нетерпеливый нрав француженки жестоко сказывался на ее прислуге. «Мадемуазель Симон, — вспоминает Александр Рембелинский, сосед Сухово-Кобылина по имению в Тульской губернии, — подобно многим иностранкам и иностранцам, приезжавшим в Россию, обращалась крайне придиричливо и сурово с прислугой, отданною в ее распоряжение Кобылиным».

Луиза просто-напросто обходилась с горничными, поварами, рассыльными и кучерами, как с рабами, и, по примеру барина, била крепостных.

— Я отошла от нее по строгому и строптивому ее характеру, — рассказывала на допросе Василиса Егорова. — Злоба ее происходила оттого, что она порусски говорила невразумительно и разговора ее я не понимала, не могла потрафить ей в исполнении приказаний, за что она выходила из себя, бивала.

— Она за всякую безделицу взыскивала, — жаловалась следователям Аграфена Кашкина, — и даже бивала из своих рук.

— Деманш была вспыльчивого характера, взыскательна, била почем зря, — вторила им Пелагея Алексеева.

Крепостная девушка Настасья Никифорова даже подавала жалобу на Симон-Деманш военному генерал-губернатору Москвы. Луиза жестоко избивала ее половой щеткой за то, что при возвращении

домой нашла ее спящей с зажженной свечой. За-  
кровский потребовал от Симон-Деманш расписку,  
что она «на будущее время с находящимися у нее в  
услужении людьми будет обращаться, как следует».

Прожив восемь лет в России, Луиза так и не  
изучила ни ее языка, ни ее нравов и не могла  
понять: то, что пристало барину, «отцу родному»,  
которого крестьяне, несмотря на всю его жестокость  
и крутой нрав, всё же любили, — «строгий был,  
но милостивый, крестьян уважал», вспоминали они,  
— не дозволяется и не прощается ей, приезжей  
иностранке, присвоившей себе в обращении с ними  
власть и манеры дедов и прадедов «русского боярина».

Рассказывая на свой лад историю гибели Деманш,  
крестьяне всегда оставались на стороне своего  
господина, хотя и считали его повинным в убийстве.  
В их рассказах, которые собрал и записал в 30-х  
годах XX века учитель начальной школы деревни  
Кобылинки Федор Кузнецов, события истолкованы  
фантастически, но в них выражается явное  
недоброжелательство к бессердечной иностранке  
и столь же явное восхищение характером барина:

— Были у него любовницы, одну из которых он  
убил — немку Луизку. Однажды за обедом любовница  
Луизка что-то поперечила ему. В гневе Александр  
Васильевич схватил гирлянду, ударил Луизку по  
голове и убил ее. А потом ее посадили, как живую,  
в карету, свезли за Москву и выбросили. Об этом  
узнали и осудили Сухово-Кобылина...

— За него сидел наш ольховский, из деревни  
Ольхи мужик, Мишка Вольнов. Сидел в тулупе  
барина, в его шапке, очень на него был похожий.  
Сухово-Кобылин богато одарил мужика, аристократ

был высшей марки, за отсидку подарил Мишке десятину земли и соболий тулуп.

— Да, характер имел крутой. В имении под Москвой убил любовницу. Чтоб спрятать следы, подкупил придворную знать и вывез труп в поле зимой. Сбросил ее с саней — якобы замерзла. Его отец говорил: «Сколько просудился на взятках, мог бы всю дорогу от Москвы до Кобылинки деньгами выложить». Откупился. И всё же суд приговорил Александра Васильевича к трем годам заключения. А он подкупил крепостного Михаила Вольнова. Вольнов и отсиживал с документами барина.

— Точно... А сам Сухово-Кобылин жил в эти годы в осиновом лесу, верстах в двух от Кобылинки, в специально построенной избушке. Фундамент той избушки сохранился до сих пор. При Александре Васильевиче находился лишь один лакей. В этой избушке и написаны были «Свадьба», «Дело» и «Смерть».

— Да нет, любовницу его убили слуги. Ненавидели ее за строгость. Судьям сказали, что убить им приказал барин. Родные его порядочно деньжонок поистратили, чтоб загасить дело. В это время он и скрывался.

Племянник Сухово-Кобылина граф Евгений Салиас передавал историю гибели француженки со слов крестьян с еще более фантастическими деталями, наводя ужас на собеседников. Редактору «Русского архива» Петру Бартеневу он рассказывал:

— Когда кучер и повар вывезли труп за заставу и, бросив его близ дороги, повернули назад, повар оглянулся и сказал: «Она бежит за нами!» Кучер оглянулся, и тоже ему показалось, что француженка бежит за ними и как бы догоняет. Кучер ударил по



лошадям. Они проскакали несколько минут, и когда оглянулись, она уже не бежала. Но они решили вернуться и покончить с нею. Они нашли ее лежащей на прежнем месте, и тут повар перерезал ей горло.

«Этот эпизод, — пишет Бартеньев, — граф Сальяс рассказывал так, что становилось страшно».

Луиза стойко сносила неверность возлюбленного, прощая ему измены и мимолетные увлечения другими женщинами. Но вот в 1850 году у нее появилась соперница — Надежда Ивановна Нарышкина, урожденная Кнорринг. Эта женщина засияла яркой звездой в московском свете. Она многих сводила с ума. Нарышкину толпами осаждали очарованные поклонники, хотя она и не отличалась какой-то особенной красотой. Напротив, была, по словам современников, непривлекательна внешне — небольшого роста, рыжеватая, с неправильными чертами лица. Но она обладала блестящим остроумием, держалась уверенно и непринужденно, была обаятельна, грациозна и властна.

Нарышкина страстно влюбилась в Сухово-Кобылина, чего и не скрывала от общества. Вся Москва еще до того, как в ночь с 7 на 8 ноября случились страшные события, знала о ее интимных отношениях с блестящим светским львом и красавцем Кобылиным; слухи о них ходили по всем салонам, что, по-видимому, льстило Надежде Ивановне.

Используя в качестве посыльного своего почтенного супруга Александра Григорьевича Нарышкина, она слала Александру Васильевичу письма одно за другим, «ревновала, просила, злобствовала»:

«Надеюсь, что ничто не заставило переменить Ваше намеренье приехать в Сабурово (имение Нарышкиной. — *В. О.*) и что мы будем иметь удовольствие видеть Вас. Если по какому-либо случаю Вы не намерены приехать сюда, что будет очень скучно и вовсе нелюбезно, то будьте так добры, велите сказать это посыльному или дайте ему записку, чтобы можно было взять другие меры. Мы останемся совершенно одни. Все гости разъехались и возвратятся не раньше, чем через неделю. Муж мой взялся доставить Вам эту записку».

«Я ездила для Вас за шесть верст на почту, — писала она, не дождавшись ответа, — и так как это путешествие увенчалось успехом, Вы обязываетесь пробыть в Сабурово до 5 числа. Вы должны это сделать, вследствие бесконечного доказательства дружбы, которое я Вам оказала. Ответьте, если можете, и во всяком случае приезжайте спросить у меня прощение и поцеловать у меня ручку — право, стоит этого. Прощайте, до свидания. Вы слишком практичный человек, чтобы ошибиться числом, и теперь я почти готова считать это достоинством и сознаться Вам в этом во вторник. Протягиваю Вам дружески руку и прошу Бога сохранить Вас.

Надежда Нарышкина. Сабурово. 30 июля».

Отголоски этого романа есть в монологе Федора, слуги Кречинского:

— Ведь была одна такая — такая одна была: богатеющая, из себя, могу сказать, красоточка! Ведь на коленях перед ним по часу стоит, бывало, ей-ей, и богатая, руки целует, как раба какая. Сердечная! Денег? Да я думаю, тело бы свое за него три раза прозакладывала! Ведь совсем истерзалась

и потухла, ей-ей. Слышно, за границей и померла\*. Было, было, батюшки мои, всё было, да бльем поросло.

*«Свадьба Кречинского», действие второе, явление 1*

Свое последнее лето 1850 года Луиза проводила частью в имении Сухово-Кобылина селе Воскресенском, частью на своей даче в Останкине. Приехав в начале октября в Москву и узнав о романе Александра Васильевича с дамой из высшего света, Луиза поверглась в такое отчаяние, что уже не в силах была скрывать от кого бы то ни было своей ревности и горя.

Жалея «добрую и прекрасную женщину» и одновременно пользуясь случаем упрекнуть брата, графиня Салиас пишет ему укоризненное письмо:

«А другая, госпожа Симон, что ты из нее сделал? Ты мне скажешь: я ее больше не люблю, — хорошо, в этом никто не властен, это чувство подвижней и свободней облаков...» Как жестоко и властно рассеял Александр Васильевич эти подвижные облака, на которых возносилась Елизавета Васильевна на заре своей юности к упованному счастью, как беспечно смеялся он потом: «Ах, этот Надеждин, удивительный чудак!» «...Но кое-что да остается после восьмилетней связи?...» ...Всё, всё останется, Елизавета Васильевна, страшной раной в сердце останется, пожизненной мукой останется, тяжким раскаянием и вечной памятью в мраморе на Введенском кладбище... «...А если не останется, то дурным, неблагодарным будешь ты, да, ты. Если ты не чувст-

---

\* Нарышкина умерла в 1895 году во Франции, куда уехала сразу же после трагических событий, когда Сухово-Кобылин находился под следствием в тюрьме и писал комедию.

внешней привязанности к ней после той любви, которую она питала к тебе, ты не заслуживаешь никакой симпатии на всю твою остальную жизнь. Не думай, чтобы я тебе через это говорила, что так как она тебя любит, то ты должен посвятить ей всю жизнь, пожертвовать ей новой любовью, нисколько. Ты сам знаешь, что это было бы безумно, говорить подобные вещи, но по крайней мере, прекратить твою любовную связь с ней, если даже ты ее не любишь, все-таки ты обязан к ней уважением и хорошим обращением, ты должен быть другом и покровителем ее, ибо у нее кроме тебя никого нет. Я знаю, что, предавшись другой любви, которая, по-моему, не имеет будущности, ты разорвешь сердца этих женщин, обе они будут несчастны. Не знаю, которая из них будет несчастней. Сам ты во всем этом будешь тем несчастней, что ты не привык страдать и не умеешь страдать. Это будет для тебя роковая новость, которая понесет тебе удар. Лучше заглушить эту страсть в зародыше. Не говоря уже о страданиях, которые тебя ожидают, какова будет твоя будущность — ты потеряешь и то и другое, и, поверь мне, ты не можешь жить один».

Вещий Слепец накануне рокового удара водил пером Евгении Тур!

Кастор Никифорович Лебедев, выступая в Сенате, назвал это письмо «курсом французских развратных правил, подробно изложенных на шести листах», и с едкой иронией добавил:

— Я рекомендовал бы всем донжуанам, а равно и обманутым мужьям ознакомиться с этим произведением нашей писательницы!

К середине октября, за несколько дней до своей кончины, Луиза полностью потеряла самообладание.

— После праздника Покрова Пресвятые Богородицы Симон-Деманш, возвратившись домой вечером, ужасно плакала, рвала на себе ленточки от чепчика и приказала приготовить себе платье, чтоб уехать совсем, — говорила на допросе горничная Аграфена Кашкина, — а когда пришел Сухово-Кобылин, она ссорилась с ним по-французски, но барин уговаривал ее остаться. И таковые ссоры бывали часто, причиною сих ссор была ревность Деманш к Нарышкиной, а как зовут ее, не знаю, а, кажется, дом ее на Сенной. Она всё кружилась возле дома той Нарышкиной, высматривая, не там ли барин и где он сидит.

Да, она кружилась, и хозяйка дома знала об этом. И однажды во время бала, увидев Симон-Деманш, заглядывающую в окна с противоположного тротуара, она подозвала к себе ничего не подозревавшего Кобылина, отодвинула портьеру, чтобы их лучше было видно с улицы, и целовала, обнимала его на глазах у несчастной француженки...

Разговоры о безумной ревности Луизы уже ходили по всей Москве. Но Александр Васильевич не придавал им значения. Он по-прежнему слал ей с камердинером короткие записочки, всё «шутил и подшучивал» над своей «любезной маменькой»:

«Скверная, дрянная, я готов биться об заклад, что Вы рыскаете по городу. Я Вас высеку и буду строг, как римский император. Ни слезы, ни стоны, ни мольбы не тронут меня — предупреждаю Вас заранее».

«Что Вы подделываете, дрянная? Прежде всего я должен сказать, что я Вас не знаю, что я выкинул из памяти Ваше имя, даже воспоминание о нем изгладилось. Я Вас не знаю: что такое госпожа Симон? Право, милостивый государь, не могу Вам этого

сказать, я никогда не слышал такого имени. Госпожа Симон... Госпожа Симон... не знаю... Только что моя мать уедет в Тулу, я приеду задать Вам на орехи».

Обер-прокурор Лебедев, комментируя на заседаниях Сената переписку любовников, отмечал:

— Переписка в небольшом количестве листков, приобщенная к следствию, чрезвычайно любопытна. Особенно любопытны письма самой Деманш, впрочем, довольно безграмотные. Есть письма, дышащие невинной страстью и любовью, есть вопли упреков. В письмах же самого любовника выражается постоянно какое-то самодовольство.

Что ж, может быть, Кастор Никифорович и был прав по-своему, по-прокурорски. Но не он и не его грозные резолюции, а судьба, которой Сухово-Кобылин отказывал в разуме и которую он называл Слепцом, сполна расплатится с ним за его беспечность и черствость к той, что писала ему незадолго до смерти:

«Ах, Александр! Ты всегда был жесток и несправедлив со мной. Да простит тебя Бог, как я прощаю за всё зло, которое ты мне причинил. Я всё же думала о твоём счастье».

Последнее свидание Сухово-Кобылина с Симон-Деманш состоялось, судя по материалам следствия, вечером 6 ноября 1850 года на ее квартире, в доме графа Гудовича.

— Мы были одни, — показывал он на допросе, — и никого из посторонних не было.

О чем они говорили в этот вечер, неизвестно. Известно только, что утром того же 6 ноября он получил от Луизы письмо. Это последнее ее послание было проникнуто безнадежной грустью и предчувствием роковой кончины:

«Любезный Александр.

Заезжайте ко мне сегодня вечером, хоть на четверть часа. Мне необходимо нужно поговорить с Вами. Не откажите мне. Я, может быть, беспокою Вас в последний раз...

Прощайте, жизнь моя очень грустна.

Луиза.

Вероятно, Вы уже скоро не услышите обо мне в Москве».

Письмо это, взятое следователями со стола Сухово-Кобылина, разумеется, не ускользнуло от внимания обер-прокурора, как не ускользнула от следствия вообще ни одна, даже самая призрачная улика против отставного титулярного советника Сухово-Кобылина.

— Не благоугодно ли господам сенаторам обратить свое взыскующее внимание на сей важный для дела документ? — призывал Кастор Никифорович. — Я разумею письмо Деманш от 6 ноября. Она просит его заехать хоть на четверть часа. Зачем? Сухово-Кобылин так и не объяснил этого следователям. Далее: она пишет, что беспокоит его в последний раз. Это любопытно — именно в последний раз и беспокоила его французская любовница. А прощаясь, она прибавила, что жизнь ее кончена и что скоро о ней не услышат в Москве.

---

---

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*А снег уж давно ту находку занес,  
Метель так и пляшет над трупом,  
Разрыл я сугроб, да и к месту прирос,  
Мороз заходил под тулупом.  
Под снегом-то, братцы, лежала она,  
Закрыв свои ясные очи...*

Из русской народной песни

*Утром 9 числа ноября месяца надзиратель 5-го квартала Пресненской части господин Герасимов приказал мне отправиться за Пресненскую заставу на Ходынское поле. Исполняя приказание начальника, я тотчас поехал по назначению на верховой лошади и там заметил в стороне от дороги, сажени в три, мертвое тело в женском платье: около тела никаких признаков следа не было по случаю сильной метели снега, который совершенно покрывал и са-мое тело...*

Из показаний казака  
Андрея Петрякова

«Обер-полицмейстеру Москвы генерал-лейтенанту Лужину. Пресненской части пристав Ильинский докладывает. За Пресненской заставой на Ходынском поле найдено тело женщины неизвестного звания».

«Пресненской части приставу Ильинскому. Обер-полицмейстер Москвы генерал-лейтенант Лужин приказывает. Произвести местное освидетельствование тела. Подробности сообщить немедленно».



«Обер-полицмейстеру Москвы генерал-лейтенанту Лужину. Пресненской части пристав Ильинский докладывает. По осмотру, произведенному мною с квартальным надзирателем Овчаренко и добровольным свидетелем Ивановым, оказалось: тело лежало в расстоянии от Пресненской заставы около двух с половиною верст, на три четверти версты от вала, коим обнесено Ваганьковское кладбище, и в трех сажнях вправо от большой дороги, ниц лицом, головою по направлению к Воскресенскому, руки подогнуты под тело. При перевороте же его оказалось, что женщина эта зарезана по горлу. Лет ей около 35, росту среднего, волосы русые, коса распущена и волосами оной обернуто горло по самому перерезу. Глаза закрыты, самое тело в замерзшем положении, одета она в платье клетчатой зеленой материи, под оным юбка коленкоровая белая, другая ватная, крытая драдедамом, и третья бумажная тканная, сорочка голландского полотна с воротничком, кальсоны коленкоровые белые, сбившиеся на ноги до самых голеней; на ногах шелковые белые чулки и черные бархатные полусапожки, на голове синяя атласная шапочка, сбившаяся на самый затылок, в волосах же черепаховая гребенка без одного зубца, креста на шее не оказалось, в ушах золотые с бриллиантами серьги, на безымянном же пальце левой руки два золотые супира\*, один с бриллиантом, а другой с таковым же камнем, осыпанным розами, на безымянном же пальце правой руки золотое кольцо, в кармане платья с правой стороны оказалось девять нутренних ключей разной величины, из коих пять на стальном

---

\* Супир (от фр. *soupir* — вздох) — перстень с одним камнем. (Прим. ред.)

кольце. При этом усмотрено, что снег, где она лежала, подтаял и под самым горлом на снегу в небольшом количестве кровь. С правой стороны по снегу виден след саней, свернувших с большой дороги, прошедших мимо самого тела и далее впавших опять в большую дорогу. По следам же конских копыт видно, что след был от Москвы. Что же касается до людских следов, то их не было замечено».

«Обер-полицмейстеру Москвы генерал-лейтенанту Лужину. Врач Тихомиров докладывает. Наружный осмотр убитого тела обнаружил, что кругом горла на передней части шеи, ниже гортанных частей, находится поперечная, с рваными расщедшимися краями, как бы прорезанная окровавленная рана, длиною около трех вершков. Кругом левого глаза опухоль темно-бордового цвета. На левой руке, начиная от плеча до локтя, по задней стороне сплошное темно-багровое с подтеками крови пятно и много других пятен и ссадин. Начиная от передней части верхних ребер до поясницы и во весь левый бок находится большое кровоизлияние, причем седьмое, восьмое и девятое ребра этой стороны переломаны, а десятое — даже с раздроблением кости».

«Обер-полицмейстеру Москвы генерал-лейтенанту Лужину. Пресненской части пристав Ильинский докладывает. Ноября десятого дня, по оказании означенного тела крестьянам Сухово-Кобылина Галактиону Козмину и Игнату Макарову они объявили, что тело это иностранки Луизы Ивановны Симон-Деманш, живущей Тверской части в доме Гудовича».

«Городской части приставу Хотинскому. Обер-полицмейстер Москвы генерал-лейтенант Лужин приказывает. Следствие об убийстве Симон-Деманш поручаю произвести приставу городской части Хо-

тинскому, поручику Редькину и следственных дел стряпчему Троицкому. Обращаю особое внимание вышеозначенных лиц на следующие обстоятельства: 9 ноября сего года отставной титулярный советник Сухово-Кобылин явился ко мне и, объявив о неизвестной отлучке в продолжении двух дней из квартиры иностранки Симон-Деманш, просил содействовать к отысканию ее. На мой вопрос, куда она могла отлучиться и где следует ее искать, он указал два направления — Санкт-Петербургское шоссе и дорогу в Хорошево. На одном из сих направлений, указанных Сухово-Кобылиным, а именно по дороге в село Хорошево в трех верстах от Пресненской заставы на Ходынском поле у Ваганьковского кладбища, и было найдено мертвое тело Деманш. В разговоре же о судьбе ее, прежде ее отыскания, Сухово-Кобылин многократно изъявлял опасения, не убита ли она».

Итак, 10 ноября 1850 года началось дело об убийстве Симон-Деманш, суждения о котором не сходили со страниц российской прессы до начала XX века. Тогдашние критики утверждали, что именно после этого «долгого, бесконечно канительного дела, судейской процедуры Сухово-Кобылин из жизнерадостного и беспечного российского дворянина вышел озлобленным и мрачным обличителем», ибо «пришлось ему испить до дна горькую чашу дореформенных порядков», ярим ревнителем которых он оставался всю свою жизнь, воспринимая как «личное оскорбление» отмену крепостного права.

— Однажды опоздал, значит, я с выездом, — вспоминал его кучер Прокофий Пименов. — Под-

ходит, брови нахмурил. «Жаль, — говорит, — нет крепостного права. Двадцать пять дал бы собственными руками, а потом на конюшню».

Сам Александр Васильевич спустя много лет после того страшного дня, когда он, сидя в тюрьме под стражей, объятый безмолвным ужасом, читал подробное описание зверских увечий на дорогом ему теле, согревавшем его своим теплом и нежностью, — спустя много лет, когда уже гнили в могилах кости следователей и частных приставов, обложивших его капканами неотразимых улик, когда уже сгнули с лица земли травившие его прокуроры, губернаторы и министры, которых он пережил, отмеченный редкостным долголетием, бравировал перед журналистами, бравшими у него интервью:

— У меня было дело, длинное запутанное дело, которое стоило мне немало денег и здоровья. Меня завлекли в чиновничью клоповню и хотели съесть живьем. Да, видно, не по зубам я им пришелся: мы, Кобылины, живучий род. Срок свой я отсидел и дело выиграл.

Вечером 7 ноября, в тот день, когда исчезла Луиза, Александр Васильевич находился на балу в доме Надежды Нарышкиной. Там он остался ужинать.

— Домой я возвратился часу во втором пополудни, — показывал он на допросе. — Не застав никого, раздет был камердинером и лег спать. В наружности камердинера ничего особенного не заметил, впрочем, и внимания на него не обращал. Возвратясь домой, я нашел у себя на туалетном столике весьма малую записку от Симон-Деманш, в которой она сообщала мне, что для расхода у нее осталось мало денег, и в то же время в коротких словах

упоминала, что давно меня не видала, а потому, вынужден из кошелька три российских полуимпериала, каковая сумма полагалась обычно на провизию, я приказал камердинеру наутро восьмого числа вместе с запискою доставить их ей. Сколько могу я припомнить, отправился я на вечер и возвратился пешком, ибо мои лошади были заняты сестрами, а извозчика я в этот вечер не нанимал. На вечер к Нарышкиным отправился я в восьмом часу или девятого четверть.

Утром 8 ноября камердинер Макар Лукьянов, исполняя приказание Сухова-Кобылина, отправился в Брюсов переулок с тремя полуимпериалами и запиской.

— Но как я барыню не застал, — объяснялся он в Мясницкой части, — то и возвратился с оными назад. Деньги и записку вернул барину, сказав, что Деманш дома нету со вчерашнего дня.

— И ударил в меня гром на Михайлов день! Нет моей милой Луизы! Так ли?.. Верно ли?.. Не ошибаюсь ли?..

И Александр Васильевич разрыдался на глазах у своего верного слуги, а тот возьми и покажи на следствии:

— Барин мой был в смущенном виде, плакал и говорил: «Верно, Деманш убита».

Сам не свой полетел Александр Васильевич в Брюсов переулок. Там он нашел только слуг.

— Где она?!

— Не можем знать, барин. Отлучилась из квартиры седьмого ноября в десятом часу вечера, а куда, не сказывала, да только пошла в теплом салопе и свечей не велела гасить, говорила, что скоро вернется.

— Галактион!! Скачи мигом в Хорошево к Киберам, и чтоб без барыни не возвращался!

— Воля твоя, барин, да только нет ее там.

— А ты почему знаешь, мерзавец? Убью! Делай, что тебе велено!

Отослав Галактиона к Киберам, Александр Васильевич взял сани Симон-Деманш и продолжал поиски француженки с таким отчаянием, что сразу же навлек на себя подозрение. В продолжение этого дня он несколько раз приезжал на квартиру Деманш с зятем своим Петрово-Соловово и поручиком Сушковым. Его слезы, возбуждение, беспокойство, а главное, предположение о том, что Деманш нет в живых, вызывали недоумение у всех, кто его видел в этот день.

— В первый раз пришел он на квартиру к Деманш часу в восьмом утра. Барин же мой до восьмого числа никогда так рано в квартиру Деманш не хаживал, — отвечала на вопросы следователей Аграфена Кашкина, — а хотя и приходил по утрам, но не раньше одиннадцати часов. Деманш езжала гашивать в Хорошево часто и была там дня по два и по три, но барин мой никогда никакой тревоги об отлучке ее не показывал и не разыскивал ее, а ограничивался одним только спросом: где она? Не посылал никогда туда дознавать.

Вслед за горничной камердинер Лукьянов утверждал:

— В прежнее время Сухово-Кобылин никогда не был встревожен об отлучке Деманш.

И все слуги, как сговорились, твердили одно и то же: барин впервые был так обеспокоен пропажей Луизы, которая, как явствует из показаний, часто без предупреждения уезжала из Москвы в деревню или на дачу.

Что ж, и это улика. Всякое лыко в строку, а строку в дело.

«Сухово-Кобылин часу в 8-м 8 числа, *то есть* часа через три по совершении убийства, — писал в обвинительной резолюции обер-прокурор Лебедев, особо подчеркивая последние слова, — приходил в квартиру отыскивать следы убитой Деманш и продолжал поиски с таким усердием, с такой тоскливостью и нетерпением, что в течение этого дня и ночи приезжал на квартиру раз шесть и оставался там по несколько часов».

Поручик Сушков, принимавший участие в поисках Луизы и утешавший Александра Васильевича в его отчаянии, предложил на всякий случай обратиться за помощью к обер-полицмейстеру. Поехали его искать. Но ни дома, ни в части Ивана Дмитриевича Лужина не нашли. Искали в Английском клубе, но и там его не оказалось. Тем временем Галактион прибыл с известием, что Деманш у Киберов не объявлялась. Александр Васильевич, заламывая руки, метался по комнатам, Сушков и Петрово-Соловово успокаивали его как могли.

К восьми часам вечера 8 ноября Сухово-Кобылин был приглашен на званый обед к князю Верде. Он поехал, послав камердинера дежурить на квартиру Деманш.

На обеде у Верде Александр Васильевич держал себя как ни в чем не бывало — шутил, пил вино, острил, выглядел беспечно.

— Сухово-Кобылин во время бытности у меня восьмого числа, — сообщил князь следователям, — нисколько не был в расстроенном положении, а напротив, был очень весел.

От Верде Александр Васильевич ушел в первом часу ночи и сразу же отправился в Брюсов переулок на квартиру Деманш, где вместе с камердинером дежурили поручик Сушков и Петрово-Соловово.

По их печальным лицам он тут же понял: никаких известий о француженке нет. Александр Васильевич отвез зятя в свой дом на Страстном бульваре, поручика — в Газетный переулок и снова приехал на квартиру Деманш, «всё еще поддерживаемый слабой надеждой о ее возвращении».

Всю ночь, не ложась, он сидел в спальне Луизы, курил, плакал, зажигал и гасил свечи.

Утром 9 ноября в Брюсов переулок примчался посыльный с письмом от поручика Сушкова. Александр Васильевич лихорадочно вскрыл конверт. «Слабая надежда» вдруг обрела силу, ярко вспыхнула в сердце. Дрожащими руками он развернул листок. Но первые же строки письма мгновенно вернули его в прежнее состояние тоски и отчаяния.

«В случае, что мадам Симон еще не отыскалась, позволь, любезный Кобылин, подать тебе совет в этом затруднительном обстоятельстве, — писал поручик. — По моему мнению, вероятно, произошло какое-нибудь несчастье, потому что она, уезжая от Эрнестины, говорила, что ей хотелось бы еще погулять в санях и в особенности прокатиться в Петровское. А так как она уехала на извозчике из дому одна, то или ее задавил экипаж, или в Петровском обворовали и даже могли убить. В первом случае, то есть несчастья на улице, вероятно, полиции оно уже известно, но только странно, что она так долго не могла прийти в себя, чтобы дать о себе знать. В случае же грабежа тебе нужно дать тотчас подробное описание в полицию о ее наружности, платье, салопе, шляпке; на ней были кольца с бриллиантами и брошка. По этим следам могут поймать вора или напасть на след. Эрнестина поручила сказать тебе, что можно испытать еще одно средство, которое иногда удавалось: приказать свести ее собачку



Жепси в парк и посмотреть, не натолкнет ли инстинкт животного, очень к ней привязанного, на след. Попытка немудреная, но попробовать можно. Вероятно, ты очень встревожился».

Дочитав письмо, Александр Васильевич быстро оделся, вышел на улицу, взял экипаж и поехал по городу разыскивать обер-полицмейстера. Того по-прежнему не было ни дома, ни в части. К обеду, за несколько часов до того, как было обнаружено на Ходынском поле изувеченное тело француженки, он, наконец, отыскал Лужина в Купеческом собрании. Александр Васильевич вызвал его в холл и сгоряча выпалил все свои страхи и сомнения, овладевшие им в бессонную ночь и усиленные письмом Сушкова.

Опытный чиновник взял на заметку всё: и дрожащий голос, и сбивчивость в речах, и смущенный вид, и воспаленные глаза, и отчаянные жесты, а самое главное, предположение, что Деманш убита.

Потом, отвергая на следствии это обстоятельство как улику против него, Александр Васильевич оправдывался:

— Вначале я действительно предполагал, что не подверглась ли она несчастью от экипажей, потому что она имела постоянную привычку ездить на самых плохих извозчиках.

Лужин принял во внимание это предположение Сухово-Кобылина — тотчас же распорядился собрать в одном месте и произвести осмотр всех извозчицких экипажей Москвы. Через несколько часов ему доложили: «По розыску в городе Москве такого извозчика, который бы 7 ноября в 10-м часу вечера возил женщину, одетую в меховом салопе и в шляпе, от дому графа Гудовича, не оказалось, а равно по повсеместному у извозчиков осмотру на

экипажах, так и на одежде кровавых следов не найдено».

Лужин объявил об этом Сухово-Кобылину. Но тот, уже не владея собой, продолжал уверять обер-полицейстера, что с француженкой случилось несчастье.

— Когда предположение мое было опровергнуто словами обер-полицейстера, — объяснял он на допросе, — то, не видя ее возвращения, я стал опасаться за ее жизнь.

Он стал говорить о намерении Луизы поехать в Петровский парк и, настаивая на том, чтобы Лужин продолжал поиски, указал, между прочим, на большую дорогу в село Хорошево. И эта была еще одна улика против него.

В этот день — 9 ноября — Сухово-Кобылин предпринял совсем уж неосторожный шаг — послал своего плотника Савву Карпова на квартиру Деманш с приказанием вскрыть ее шкафы и комоды и доставить ему все вещи, письма, деньги и ценные бумаги француженки. Факт этот особо отмечен в деле:

*«Ноября 9, то есть на другой день убийства Деманш и когда не было еще этого открыто, — подчеркивал обер-прокурор в обвинительной резолюции, — крепостной человек Сухово-Кобылина Савва Карпов с четырьмя другими людьми приехал на квартиру за имуществом и был взят там с инструментами для отпираания замков».*

Посылая плотника Карпова в Брюсов переулок, Александр Васильевич конечно же не знал, что обер-полицейстер вместе с распоряжением осмотреть экипажи извозчиков отдал приказ взять под тайный надзор квартиру Деманш и дом самого Сухово-Кобылина на Страстном бульваре. Плотника

арестовали и допросили. Круг подозреваемых сужался. Труп француженки еще не был найден, но уже были арестованы все слуги Сухово-Кобылина, за исключением камердинера Макара Лукьянова, который будет взят под стражу вместе с баринном 16 ноября.

Пробыв весь день у обер-полицмейстера, Александр Васильевич вернулся домой на Страстной бульвар. Поздно вечером к нему постучали. Не надевая фрака, в одной рубашке он выскочил в прихожую. Перед ним стоял человек в полицейском мундире.

— Квартальный поручик Максимов... имею сообщить вам...

— Что?! Где она?! Говори...

— Имею сообщить вам, господин Кобылин, что по дороге в село Хорошево за Пресненской заставой найдено тело женщины, зарезанной по горлу. Ваши люди опознали в ней...

— Луиза!!!

Он отшатнулся, прижался лицом к стене. Несколько минут камердинер и поручик наблюдали, как он сотрясался в безмолвных рыданиях.

«Этот день — день потери любимой женщины, — писал он полвека спустя в черновике автобиографии, которая предназначалась для парижского театра «Ренессанс», где в 1902 году была поставлена «Свадьба Кречинского», — был днем жесточайшего оскорбления и днем, когда я покинул московское общество и отряс прах с ног моих».

Проводив квартального поручика, камердинер взял барина за плечи и, осторожно ступая по паркету, отвел его в кабинет. Вторую ночь здесь не гасили свечей, не раздвигали портьер. Александр Васильевич вытащил из секретера дневник. Открыв его на-

угад, он принялся медленно переворачивать испи-  
санные страницы. Перед глазами поплыли, иска-  
жаясь от света качающихся огней, от наворачивав-  
шихся слез, строки поспешных записей о радостных  
свиданиях с Луизой. Дойдя до последнего листа,  
он отделил пробелом шириной в ладонь всю свою  
прошлую жизнь — пеструю мешанину отчетов о ком-  
мерческих операциях, карточных выигрышах, став-  
ках на ипподроме, балах и обедах, светских интри-  
гах и флиртах и записал, вдавливая пером каждую  
букву в тонкий листок бумаги:

*«Совершился перелом, страшный перелом».*

В дни перед арестом Сухово-Кобылин не выхо-  
дил из дома, никого не принимал, кроме родствен-  
ников и Надежды Нарышкиной.

«В конце концов, да исполнится воля Божья, —  
писал он сестре Евдокии. — Я не такой представ-  
лял свою жизнь, но готов принять ее как искупле-  
ние за возможные вины перед моей несчастной по-  
другой. Да будет ее печальная память священна как  
память доброго и благородного существа, чья пре-  
данность мне была безгранична. Я твердо убежден,  
что моя потеря огромна и что я никогда не найду  
привязанности, которая могла бы сравниться с этой.  
Только раз в жизни можно быть так любимым, вся  
моя юность прошла, чтобы вызвать и укрепить эту  
любовь, я знал это, я был в этом слишком уверен,  
вот почему я позволял себе несправедливость быть  
к ней небрежным. Только потеряв всё, я узнаю свои  
ошибки и величину моей потери. Невозможно вы-  
разить, сколько мучительных воспоминаний встает  
в моем сердце наряду с раздирающим воспомина-  
нием об ее грустном конце. Есть некоторые ее упре-  
ки, справедливые жалобы, которые постоянно вста-  
ют в моей памяти и трогательная правда которых

мне ясна теперь более, чем прежде. Она умерла жертвой своей преданности мне, и это смерть мученицы».

В Мясницкой части уже начинаются допросы дворовых людей. Но Александр Васильевич еще не вникает в ход дела. Он сидит в своем кабинете и пишет об одном — о «тяжком чувстве одиночества и пустоты, которым полна душа». Страх одиночества угнетает его постоянно. Ему уже известно, что Надежда Ивановна Нарышкина намерена немедленно покинуть Россию, уехать навсегда во Францию.

«Я, следовательно, останусь более одиноким, чем теперь», — записывает он в дневнике.

Весть об убийстве француженки Симон мгновенно разнеслась по всей Москве. «Это крупное дело, — вспоминает писатель Петр Боборыкин, — сильно взволновало барскую и чиновную публику обеих столиц». Причин для волнения публики было достаточно. В дело замешаны лица из высшего общества, светский лев Сухово-Кобылин, звезда московских салонов Надежда Нарышкина, уже оповещен консул Франции, в известность поставлен государь.

Лев Толстой, находившийся в это время в Москве, пишет своей тетке Татьяне Александровне Ергольской:

«Так как Вы охотница до трагических историй, расскажу Вам ту, которая наделала шуму по всей Москве. Некто Кобылин содержал какую-то госпожу Симон, которой дал в услужение одну горничную и двоих мужчин. Этот Кобылин был раньше в связи с госпожой Нарышкиной, рожденной Кнорринг, женщиной из лучшего московского общества и очень на виду. Кобылин продолжал с ней переписи-

сываться, несмотря на свою связь с г-жой Симон. И вот в одно прекрасное утро г-жу Симон находят убитой, и верные улики указывают, что убийцы ее — ее собственные люди. Это куда ни шло, но при аресте Кобылина полиция нашла письма Нарышкиной с упреками ему, что он ее бросил, и с угрозами по адресу г-жи Симон. Таким образом, и с другими, возбуждающими подозрения причинами предполагают, что убийцы были направлены Нарышкиною».

С Толстым Сухово-Кобылин неоднократно встречался в самый разгар судебного процесса об убийстве Симон-Деманш. Вместе с Львом Николаевичем они фехтовали на шпагах и кинжалах, упражнялись в школе гимнастики и фехтования француза Якова Пуаре. Между ними, по всей видимости, происходили весьма доверительные разговоры, инициатором которых был Толстой. 8 марта 1851 года он записывает в дневнике: «На гимнастике хвалился (самохвальство). Хотел Кобылину дать о себе настоящее мнение (мелочное тщеславие)». Спустя пять лет, 9 апреля 1856 года, когда следствие по делу Симон-Деманш еще продолжалось, они встретились вновь в редакции некрасовского «Современника». Сухово-Кобылин тогда записал в дневнике: «У Некрасова. Знакомство с ним. Худой, больной, скрипящий человек. Играет по 5 часов в карты. Встретил у него Толстого, с которым прежде делал гимнастику». В тот день Александр Васильевич принес Некрасову в большом кожаном портфеле с двумя металлическими замками «Свадьбу Кречинского», а Лев Николаевич — свою повесть «Два гусара». Так они и были опубликованы вместе, в шестой книжке «Современника» за 1856 год: «Свадьба Кречинского» вслед за «Двумя гусарами».

В дальнейшем все отзывы Сухово-Кобылина о Толстом были резко отрицательными. Он считал, что «как художник граф Толстой кончается “Анной Карениной”, а дальше читать нечего», как философа и проповедника не признавал его совершенно, неоднократно заявлял, что «Толстого не понимаю и не желаю читать». Когда же начальник почт США в 1890 году признал «Крейцерову сонату» Толстого произведением «неприличным» и запретил пересылку повести по почте наряду с порнографической литературой, о чем в России появилась заметка под названием «Отголоски» в 187-м номере газеты «Свет», Сухово-Кобылин, прочитав ее, немедленно написал открытое письмо в редакцию:

«Невежественные экскурсии графа Толстого в сфере любомудров кончились скандалом. В мире науки это возмутительно. Я поражен известиями из Америки, мне стыдно за Россию, и мне хотелось бы доказать на деле, что и мы, русские, способны философствовать, не впадая в порнографы, как граф Толстой».

Встречались ли они еще когда-нибудь, о том сведений не имеется. Известно только, что их имения в Тульской губернии — Кобылинка и Ясная Поляна — находились по соседству.

В течение всего ноября, по воспоминаниям современников, единственной темой разговоров в Английском клубе, в Купеческом собрании, в салонах Москвы и Петербурга было дело об убийстве француженки. Положение Сухово-Кобылина было тяжелым. Тучи над ним сгущались. Доходили слухи, что у следствия имеются улики против него, что готовится приказ об аресте. Возле его дома толпами собирались любопытные, некоторые выкрикивали:

— Здесь живет убийца!

Александр Васильевич замкнулся. Он был наедине с собой. Он не желал видеть свет. Он смотрел только в себя. Там происходила работа. Час стоил месяца, день — года. Жизнь разламывалась пополам. «Буря общественного мнения, которая разразилась надо мной в ноябре 1850 года, — писал он в автобиографической записке об истории создания «Свадьбы Кречинского», — вогнала меня в меня самого, и через это началась моя внутренняя жизнь — работа мышления, которое отныне составило всё содержание моего Я».

По иронии судьбы, по воле Слепца случилось так, что в эти мучительные для него дни рядом с ним, в кругу его близких, находился человек, ставший впоследствии лютым врагом драматурга и его сочинений, — Евгений Михайлович Феокистов. «Скандал был чрезвычайный, — пишет он в мемуарах, — Нарышкина сделалась притчей во языцех, ужасные минуты переживал ее муж, человек, пользовавшийся общим уважением, имя которого вдруг послужило предметом самой отвратительной хроники. Что касается Кобылина, то из разговоров, которые мне приходилось слышать, я мог убедиться, что, за крайне редким исключением, никто не принимал его сторону — такое он успел внушить к себе отвращение».

Да, с обществом и с высшими сановниками Москвы, которым он наносил непозволительные оскорбления, Александр Васильевич действительно находился в самых плохих отношениях. Его богатство и знатность в сочетании с врожденным чувством независимости у многих вызывали раздражение. «Кобылин, отставной титулярный советник, — пишет его сосед по имению Александр Рембелинский, — неслужащий дворянин, что уже само



по себе в те времена не служило признаком благонадежности, помимо того он и по воззрениям своим, и по образу жизни был довольно независим, и нельзя сказать, чтобы пользовался особенными симпатиями высшего московского общества, в котором вращался. Связь его с француженкой была известна, француженок в то время в Москве было немного, не менее известен был в обществе и его роман с дамой из высшего света, всем известной. И вот пошла писать губерния!»

«Губерния» писала:

«Убийца был Кобылин. И дело было так. Дом свой на Страстном бульваре отдал он в распоряжение сестры, госпожи Петрово-Соловово, а сам поселился во дворе того же дома, во флигеле, куда и приезжала к нему по вечерам мадам Нарышкина. Однажды мадемуазель Симон, давно уже следовавшая за своей соперницей, сумела в поздний час проникнуть к своему возлюбленному. С проклятиями и ругательствами набросилась она на них, и Кобылин пришел в такую ярость, что ударом подсвечника уложил ее наповал. Затем склонил он деньгами прислугу вывезти ее за город...»

«Для всякого, кто имел понятие о необузданной натуре Кобылина, — комментирует этот рассказ Феоктистов, собравший в своей книге «За кулисами политики и литературы» множество разнообразных легенд о гибели француженки, — не представляется в этом ничего несбыточного».

Что ж, московская публика, хорошо знавшая крутой характер Александра Васильевича, не отказывала себе в удовольствии «не представлять ничего несбыточного» в этой истории. «Вся Москва, а за ней и Петербург, — вспоминает Боборыкин, — повторили рассказ, которому все легко верили. Рас-

сказывали в подробностях сцену, как Сухово-Кобылин приехал к себе вместе с г-жою Нарышкиной, француженка ворвалась к нему или уже ждала его и сделала скандальную сцену. Он схватил шандал и ударил ее в висок, отчего она тут же умерла. Мне лично, — признается писатель, — всегда так ярко представлялась эта, быть может, выдуманная сцена, что я ею впоследствии воспользовался в моем романе “На суд”».

И действительно, в 1869 году в первом номере журнала «Всемирный труд» появляется роман Боборыкина, сюжет которого совпадает с кобылинским процессом, а точнее сказать, с канвой тех слухов и сплетен, которыми было окутано это громкое дело. Недаром театральный критик Любовь Гуревич писала в некрологе: «Личность Сухово-Кобылина и биография его представляют собою как бы художественное произведение, созданное самой жизнью». «Произведение» это создавали, конечно, не только жизнь и не только писатель Боборыкин. «Губерния» «писала», не жалея красок, снабжая свои версии всё новыми и новыми подробностями.

— Сухово-Кобылин охладел к француженке, — рассказывали в клубах, — и заменил ее новым предметом страсти. Француженка была крайне ревнива. Седьмого ноября вечером она, придя неожиданно на квартиру Кобылина, застала там Нарышкину. Между двумя соперницами произошла бурная сцена, пылкая француженка оскорбила Нарышкину действиями, ударив ее по лицу. Не менее пылкий Кобылин схватил тяжелый канделябр с камина, пустил им во француженку и убил. Тогда что делать? Он призывает своих крепостных и, подкупив их деньгами и обещанием выдать вольную, убеждает принять вину на себя, обещая сверх

того свое покровительство и заступничество перед судом.

В страдания Александра Васильевича, в искренность его чувств и отчаяния верили мало. Он был игроком, и это тоже знала вся Москва. Он умел актерствовать за ломберным столиком, умел сохранять спокойствие, бросая на кон крупные суммы, умел имитировать возбуждение, блефуя на неудачной карте. И велик, очень велик был соблазн представить эти способности дьявольски безграничными. Феоктистов, который поначалу (как он объясняет, под влиянием родственников Сухово-Кобылина) верил в его невиновность, а затем пришел к убеждению, что «тяжкий грех остался на душе Кобылина», рассуждал на этот счет очень характерно:

«Но при этом возникает передо мной его фигура в те дни, когда было обнаружено преступление: нельзя представить, какое страшное отчаяние овладело им при известии о насильственной смерти женщины, которая в течение многих лет питала к нему безграничную преданность. Этот суровый человек рыдал, как ребенок, непрерывно повторялись у него истерические припадки, он говорил только о ней и с таким выражением любви, что невозможно было заподозрить его [не]искренность. Неужели всё это была только комедия, которую с утра до ночи разыгрывал он перед матерью и сестрами? И затем, когда потребовали его к допросу, когда прямо высказали, что считают его убийцей, он отнесся к этому с негодованием и яростью, едва ли свойственной преступнику. Но если даже заподозрить его в притворстве, — хотя самый лучший актер не сумел бы с таким искусством и в течение столь продолжительного времени разыгрывать роль, — что сказать о Нарышкиной? С того дня,

как огласилось убийство, она находилась постоянно в обществе его родных и ни единым мускулом своего лица не обнаружила, что была сколь-нибудь причастна к страшной тайне. Неужели и она могла с таким поразительным самообладанием носить личину? После судебного приговора Кобылин вообще отшатнулся от общества, вернее, общество отшатнулось от него. Озлобленный, проживал он большей частью в деревне, изрыгая проклятия на Россию, которая сделалась ему особенно ненавистной после отмены крепостного права».

Что касается проклятий, «изрыгаемых» в сочинениях «озлобленного» сатирика, то именно стараниями Феоктистова они дальше Кобылинки не распространялись. А Россию Кобылин действительно невзлюбил.

— Здесь, — заявлял он, — кроме вражды, замалчивания, ждать мне нечего. На самом деле я России ничем не обязан, кроме клеветы, позорной тюрьмы, обирательства и арестов меня и моих сочинений, которые и теперь дохнут в цензуре у Феоктистова. Из моей здешней долгой и скорбной жизни я мог, конечно, понять, что на российских полях и пажитях растут крапива, чертополох, татарин, терновник для венцов терновых, куриная слепота для мышления, литературная лебеда для духовного кормления и прочий всякий хлам. Лично я обречен с моими трудами литературному остракизму и забвению...

— Моя третья пиэсса\*, исправленная и сокращенная, не удостоилась милости г. Феоктистова.

---

\* Некоторые слова, вопреки правилам, Александр Васильевич произносил и писал по-своему — «филозоф», «пиэсса», а знаками пунктуации пользовался произвольно. Кроме того, у него была «гегельянская» манера писать все отвлеченные существительные с прописной буквы.

Он утверждает, что это несправедливая и жестокая сатира...

— Третью пиэссу Феоктистов не пропускает. Это мне и обида, и большой убыток. Я в нынешнем тяжелом году рассчитывал на эту пиэссу, которая должна дать сбор. Я ее изменил, исправил, сделал новый конец по указанию цензуры, но ничего не помогло. Это мне было так прискорбно, что я почти заболел. Вот уже двадцать лет, как она запрещена...

— Получил письмо от Феоктистова, в котором он мягко стелет, но жестко спатать, а именно: министр внутренних дел состоит в совершенном согласии с мнением Совета и полагает, что пиэсса не возбудит смеха, а произведет содрогание...

— Сколько вещей лежит втуне — когда я посмотрю на свой шкаф, мне так грустно становится... Много, много хороших вещей лежит, и всё даром, втуне, — что другим составило бы европейскую известность и деньги, которых мне так надо... а у меня это какой-то хлам, покрытый сорокалетней пылью...

— Какая волокита: прожить семьдесят пять лет на свете и не успеть провести трех пиэсс на сцену! Какой ужас: надеть пожизненный намордник на человека, которому дана способность говорить! И за что? За то, что его сатира на порок производит не смех, а содрогание, когда смех над пороком есть низшая потенция, а содрогание высшая потенция нравственности. Какая нежность полиции! Какой чиновничий сентиментализм, или лучше: какое варварство в желтых перчатках! Не имею ли я право в конце моей жизни и в глуши такой ночи закричать, как Цезарь Август: «Вар, Вар, отдай мне мои годы, молодость и невозвратно погибшую силу!»

Феоктистов конечно же, случись ему услышать эти «жалобы» Кобылина, звучавшие в его дневниках и письмах, не снизошел бы до них. Драматург и цензор находились на разных полюсах. Первый под конец жизни был разорен и уповал только на литературные гонорары. Служебная бдительность второго была щедро оплачена. Евгений Михайлович встретил старость «кавалером всех орденов до Александра Невского включительно», при Николае II в 1896 году был назначен сенатором и ушел на покой писать мемуары в чине тайного советника, имея 40 тысяч рублей наградных сверх пожизненной годовой восьмитысячной пенсии...

Жестокое убийство француженки, жившей напротив самых окон генерал-губернаторского дома, всполошило всю полицию. «Грозный хозяин Москвы», как называли Закревского, негодовал. Он хорошо знал деспотичный характер государя Николая I, хорошо знал, что любая оплошность в правлении Москвой могла остановить его блистательный взлет, низвергнуть с завоеванных высот. Убийство, к которому, по мнению всей Москвы, была причастна дворянская знать, ставило под угрозу карьеру Закревского, которую он сделал, поставив в Аустерлицком сражении на собственную лошадь. Тогда, 2 декабря 1805 года, майор Закревский смекнул, что и лошадь, если на нее вовремя водрузить зад начальства, может «ввести в Сенат». Когда шальная пуля, залетевшая в тылы русских войск, сразила лошадь командира полка графа Каменского, Арсений Андреевич тут же подставил ему свою, помог взобраться на седло, поправил в стремени сапог командира. Каменский не оставил

без внимания услужливость подчиненного. Отходя в 1811 году в мир иной, он завещал ему свои бумаги и между прочим снабдил пышной рекомендацией, с которой Закревский явился ко двору в Петербург и предстал перед императором Александром I.

Майор был тотчас произведен в полковники лейб-гвардии Преображенского полка и назначен адъютантом к военному министру Барклаю де Толли, а вслед за тем и директором особой канцелярии министра. Канцелярская служба сверкнула ему Георгием четвертой степени и Владимиром третьей степени. Правда, блеск их был еще не так ярк, как блеск тех лучезарных звезд, из которых Арсений Андреевич выковыривал бриллианты для продажи, вставляя в отечественные ордена фальшивые стекляшки. Войну с Наполеоном Закревский благополучно пересидел на посту дежурного генерала при штабе государя, и после разгрома французов его полная осанистая фигура еще долго маячила в свите Александра I, совершавшего торжественные шествия по России и Европе.

В 1823 году Закревский покинул столицу, получив назначение на пост генерал-губернатора Финляндии. В Гельсингфорсе\*, где находилась его резиденция, он жил на широкую ногу, устраивая на казенные деньги пышные приемы и балы для местной знати, что не замедлило сказаться на его положении. Желая видеть Арсения Андреевича в числе своих сограждан, финский сенат обратился к царю с просьбой «о сопричислении его к высшему дворянству края», и Закревский был возведен в графское достоинство великого княжества.

---

\* Современный Хельсинки. (Прим. ред.)

Императору Николаю Павловичу Закревский показался человеком очень подходящим для той масштабной работы, которая развернулась в государстве после событий на Сенатской площади. Взойдя на престол, он тотчас пожаловал Арсению Андреевичу орден Святого Александра Невского и назначил членом Верховного уголовного суда, учрежденного «для суждения прикосновенных к делу 14 декабря 1825 года». Государь не ошибся в своем выборе; ему понравилось старание, с которым финский граф исполнял эту должность, и фортуна в лице российского самодержца улыбнулась Арсению Андреевичу. В апреле 1828 года Николай повелел ему быть министром внутренних дел Российской империи с сохранением всех прежних должностей. Это был взлет. Он, Арсений Андреевич, два десятка лет назад армейский майор, каких тысячи, взирал на мир с высоты главного кресла одного из самых могущественных министерств империи.

Казалось, ничто уже не сможет столкнуть его с вершины. Но в 1831 году в России разразилась эпидемия холеры. Имея опыт борьбы только с «холерой революционной», Арсений Андреевич оплошал. Карантины, бестолково расставленные им по границам губерний, вместо того чтобы остановить холеру, способствовали ее скорейшему распространению. К лету холера уже свирепствовала в Петербурге. Государь был в ярости, он назвал все распоряжения Закревского «идиотскими», призвал его во дворец, обругал и выставил вон. В один миг Закревский лишился всех должностей и вышел в отставку, подавленный, убитый, растоптанный.

Отлучение от государя длилось 15 лет, до тех пор, пока Николай Павлович, напуганный революционными событиями в Европе, не вспомнил об



Арсении Андреевиче. Царь вызвал его из подмосковной деревни. Последовала сцена теплого примирения опального графа и самодержца, когда-то не сошедшихся во взглядах на способы пресечения холерной эпидемии. Николай обласкал Арсения Андреевича, осыпал его милостями и орденами и назначил военным генерал-губернатором Москвы. В доказательство возвращения своего неограниченного доверия император вручил Закревскому чистые бланки с собственноручной подписью с позволением вписывать в них всё, что тот сочтет необходимым. Много лет спустя, в 1864 году, незадолго до смерти, Закревский писал:

«Я знаю, что меня обвиняют в суровости и несправедливости по управлению Москвой; но никто не знает инструкции, которую мне дал император Николай, видевший во всём признаки революции. Он снабдил меня бланками, которые я возвратил в целости. Такое было тогда время и воля императора, и суровым быть мне, по-видимому, было необходимо».

Об инструкции и бланках знала конечно же вся Москва. «Закревский во всё продолжение своего деспотического правления в Москве, — вспоминает дворянин Селиванов, служивший в его канцелярии, — хоть и не прямыми словами, но разными очень прозрачными намеками давал всем чувствовать, что у него есть открытый бланк и что он может делать всё, что признает нужным».

Бланки наводили ужас на всю Москву, и Закревский, пользуясь этим, свидетельствуют современники, «нагонял такой страх на москвичей, что никто не смел пикнуть даже тогда, когда он ввязывался в такие обстоятельства семейной жизни, до которых ему не было никакого дела и на которые закон во-

все не давал ему права... Он интересовался даже тем, сколько отец дает денег дочери на булавки».

Диктатор, как водится, поставил дело так, что трепетали не только перед ним, но и перед всем его семейством, которое имело доступ к власти. «Свежий старик, человек без всякого светского образования, поспешный и иногда грубый, — вспоминает сенатор Лебедев, — он часто находился под влиянием жены и дочери». В то время, когда Арсений Андреевич находился в апогее своего могущества, дочь его вершила судьбами Москвы, ее капризы возводились в закон, возвращали милость опальным, повергали в опалу осыпанных милостями. «Окруженная раболепным вниманием, — пишет один из биографов Закревского, — графиня Лидия Арсеньевна была царицей московского высшего общества и походила иногда на избалованного ребенка, часто употребляя свое влияние на отца».

Ко времени вступления Закревского в должность уголовная преступность во всех слоях общества достигла в Москве небывалого размаха. «Граф Закревский много переводит мелких мошенников, — отмечал в своих «Записках» Лебедев, — но мошенничества не переведешь, и оно всё более втирается в слои высшие. Москва кишит преступлениями: в разорившемся дворянстве поддельными векселями Загряжского, Бородина, Нилуса, в купечестве подлогами беспрерывными». Заявляя свою «правительственную способность» и стараясь оправдать доверие Николая, Закревский «принимал меры к спокойствию Москвы». Он с усердием занялся «открытием и предупреждением заговоров». «Каких? о чем, где?» — недоумевал обер-прокурор, стол которого был завален уголовными делами. Да, Закревский «открывал заговоры», а между

тем почти вслед за отъездом царского двора из Первопрестольной (Николай принимал участие в пышных торжествах в честь вступления Закревского в должность) в Кускове была отравлена графиня Шереметева, через месяц в гостинице «Дрезден» на Тверской задушен и ограблен сын персидского посланника, 7 апреля 1850 года послушник Донского монастыря заколол кинжалом княгиню Голицыну, а через семь месяцев после этого погибла француженка, жившая под боком у генерал-губернатора...

Утром 11 ноября Арсений Андреевич, держа два пальца в прорези мундирного сюртука, вошел в свой кабинет. Камердинер Фаддей уже ждал графа возле кресла с нагретыми щипцами, чтобы завить ему единственную и потому драгоценную прядь волос, которая начиналась от самого затылка и загибалась искусством камердинера вверх, на макушку головы, уподобляясь птичьему хохолку. Во время этой процедуры камердинер, наклоняясь к уху генерал-губернатора, неспешно докладывал о делах.

— В приемной, ваше сиятельство, с утра дожидаются обер-полицмейстер. Сказывали, что имеют до вашего сиятельства весьма важное сообщение-с...

— Что? Что такое?

— Убиение, ваше сиятельство, насильственное убиение иностранки.

— Что там, готово у тебя?.. так ступай и зови сюда Ивана Дмитриевича, живо!

Арсений Андреевич внимательно и сосредоточенно, перебивая Лужина лишь короткими вопросами, выслушал обстоятельства дела и результаты предварительного расследования. Имя Сухово-Кобылина, то и дело мелькавшее в докладе обер-полицмейстера, вызвало на его птичьем лице с заостренным носом и сильно выдвинутой нижней губой

сначала выражение недоумения, а затем нескрываемуую ухмылку. Отправив Лужина в часть, он взял перо и аккуратно вывел на бумаге слова своего первого распоряжения по делу об убийстве Деманш:

«Приказываю установить за всеми действиями отставного титулярного советника Сухово-Кобылина надзор тайной полиции.

Военный генерал-губернатор Москвы  
граф Закревский».

К вечеру он сообщил Лужину, что намерен лично возглавить деятельность следственной комиссии, и потребовал, чтобы его ставили в известность о малейших, даже самых незначительных фактах по делу. При этом генерал-губернатор втайне от Лужина снарядил собственное секретное следствие, которое, как и основное, действовало исключительно по его распоряжениям.

Ах, как жаждал Арсений Андреевич улик, улик и улик! Как хорошо ему помнились клубные шутки этого щеголя, спортсмена, игрока, донжуана и театрала.

— А вот узнаешь теперь, остряк, лихач, якобинец, разудаль проклятая, Арсения Андреевича!

Улики не замедлили явиться. Одна пришла сама — в лице князя Радзивилла, поляка, студента Московского университета. Радзивилл жил на втором этаже дома графа Гудовича и под присягой показал, что ни криков, ни шума из квартиры Деманш в ночь на Михайлов день не было слышно. По приказу Закревского устроили даже нечто вроде следственного эксперимента с целью установить, можно ли крики и шум в квартире Деманш услышать из квартиры Радзивилла. Генерал-губернатор лично наблюдал за совершающимся действием. Частный пристав Редькин поднялся наверх и припал ухом к

половице, а пристав Хотинский и стряпчий Троицкий внизу орали во всю глотку.

— Слышно отлично, ваше сиятельство! — доложил Редькин, поднявшись на ноги.

— А раз так, — размышляя вслух, проговорил Закревский, — то возможно ли предположить, чтобы убивали и резали молодую и сильную женщину, которая не могла не сопротивляться и не звать на помощь, и не было бы слышно, тогда как слышно отлично?

— Никак нет-с, ваше сиятельство, предположить невозможно-с!

— Стало быть, убийство произошло не на квартире Деманш, где и следов-то крови по осмотру не найдено.

— Так точно, не найдено, ваше сиятельство!

— А если убийство совершилось не там, то где?

— На Страстном бульваре, ваше сиятельство, во флигеле дома номер девять, осмелюсь предположить.

— Хорошо-хорошо... идиот! Я разве тебя спрашиваю? Поди прочь.

«Этот подлый поляк Радзивилл всюду рассказывает, что он слышал крики, но не имеет мужества свидетельствовать о том официально», — писала Мария Ивановна Сухово-Кобылина дочери Евдокии Васильевне Петрово-Соловово.

Конечно, мужества у поляка не хватило, ибо следствие усиленно направлялось на Страстной бульвар. И кем? Диктатором, облеченным неограниченной властью в Москве.

И всё же прямых улик против Сухово-Кобылина у Закревского пока еще не было. Более того, даже если предположение, что Деманш была убита на Страстном бульваре, оказывалось верным, у след-

ствия не было оснований подозревать Александра Васильевича — в ночь на Михайлов день его дома не было, он находился на вечере у Александра Григорьевича Нарышкина.

Но вот случилось неожиданное. Дворник Сухово-Кобылина Антон Павлов на допросе показал:

— Так как седьмого числа, накануне Михайлова дня, к барину моему приехала родная сестра его Петрово-Соловово с зятем его, то барин мой весь вечер и до утра был дома и из одного никуда не отлучался, да и карета его была в починке.

Вслед за дворником то же самое показали кучер и повар.

Этими показаниями разрушалось единственное алиби Сухово-Кобылина. Значит, не был он седьмого числа на вечере у Нарышкина? Выходит, что так. Допрашивать же гостей Нарышкина в планы Закревского не входило.

В глазах, сударь, закона показания первых двух свидетелей имеют полную силу. А ваше собственное никакой.

*«Дело», действие второе, явление VI*

Закревский не теряет надежды найти улики «еще более верные». Он посылает секретную депешу к аббату Кудеру с требованием сообщить о похоронах Симон-Деманш. «И подробно, подробно, господин аббат!» — настаивает он.

Ответ Кудера изумил генерал-губернатора:

«Ваше сиятельство, по объявленному мне вчера Вашему приказанию, честь имею доложить подробности похорон Симон-Деманш, моей прихожанки. 9 или 10 числа сего месяца студент лет 20 или 22 вручил мне незапечатанное письмо от имени, как

он сказал, госпожи Нарышкиной, в котором госпожа сия уведомляла меня о смерти одной француженки, не называя ее и спрашивая, какие требуются формальности для погребения. Что же касается погребальной церемонии, то всё было сделано сообразно церковному уставу и вследствие письменного разрешения полиции».

— Как?! Как вы сказали, аббат? Девятого или десятого числа?.. Что ж, отлично! Ну а содержание записки?

«Немедленно пришлите записку, господин Кудер», — скомандовал генерал-губернатор.

И через час записка Надежды Ивановны Нарышкиной легла на его стол.

«Господин аббат, — писала она, — прошу Вас сообщить подателю сей записки о всём том, что нужно для совершения погребения особы католического исповедания, а равно указать, где можно заказать гроб. Примите, господин аббат, уверения в моем совершенном уважении».

В отчете о погребальной церемонии аббат по каким-то соображениям не обмолвился ни единым словом о другой записке, присланной ему за день до похорон Деманш 10 ноября госпожой Нарышкиной с тем же студентом.

Однако само упоминание таинственного студента давало Арсению Андреевичу желанную зацепку.

— Студент... студент! какой студент? Достать этого студента из-под земли!!

Студента нашли очень быстро. Им оказался Евгений Михайлович Феоктистов, часто исполнявший роль посыльного в семействе Кобылиных. Будущего цензора и сенатора привезли на допрос, и в деле появилось чрезвычайно важное показание:

— Был я у пастора Кудера три раза: в первый раз по просьбе сестер господина Кобылина, с запискою, в которой просили его дать необходимые сведения о погребении тела госпожи Симон; во второй раз был у него, чтобы узнать форму пригласительных билетов на погребальную церемонию, и в третий раз, чтобы просить пастора, в случае если бы Кобылин приехал в католическую церковь, сказать ему, что тело Симон-Деманш находится в этой церкви, но что видеть его не дозволяется. Записка сия была писана госпожой Нарышкиной и отвезена мною к пастору Кудеру десятого числа, часу в четвертом пополудни.

Разрешение на допрос Нарышкиной военный генерал-губернатор Москвы дал без малейших колебаний. На вопросы, поставленные следователями, Надежда Ивановна ответила:

— С Деманш я не только не была знакома, но даже никогда ее не видела. Записку аббату Кудеру писала по просьбе сестер Кобылина, в квартире Петрово-Соловово, по той причине, что я знакома с аббатом Кудером, а сестры Кобылина его совершенно не знают. Когда же записка была написана, то графиня Салиас послала оную, кажется, со студентом Феоктистовым.

Закревский ликовал. Какой стройный сюжет, какой психологический этюд открывался здесь! Нарышкина, соучастница преступления, сама заказывает гроб для жертвы, а потом беспокоится, чтобы ее любовник не видел в погребальном убранстве изувеченного тела — страшного деяния рук своих!

Нет сомнений, что следственная комиссия с легкостью получила бы у Закревского разрешение и на арест Нарышкиной. Но ареста не случилось. В самый ответственный момент Арсений Андреев-



вич, как всегда, оплошал. Надежда Ивановна ускользнула прямо из его рук. Сразу же после допроса она тайно покинула Россию, не объявляя о своем отъезде никому, кроме Александра Васильевича. В ту пору, когда обнаружилось убийство Деманш, Надежда Ивановна была уже беременна, через несколько месяцев, 3 июня 1851 года, в Париже она родила дочь, отцом которой был Сухово-Кобылин. Девочку родители назвали в память о погибшей француженке Луизой. Луиза Александровна носила фамилию Вебер, затем, много лет спустя, когда император Александр III дал разрешение на официальное признание дочери Сухово-Кобылина, она получила фамилию отца. В Париже, выйдя замуж за капитана французской армии маркиза де Фальтана, она взяла его фамилию, а овдовев, вновь стала Сухово-Кобылиной. Под конец жизни Александр Васильевич отписал ей остатки своего состояния — имение Кобылинку и виллу *Ma Maisonnette* («Мой Домик») на юге Франции и завещал издание всех его трудов. Луиза Александровна присутствовала на репетициях и премьере «Свадьбы Кречинского» в 1902 году в парижском театре «Ренессанс». В старости отчаявшийся, разоренный, всеми покинутый Александр Васильевич говорил о дочери:

— Страшно сказать, я благодарю Бога, что у нее нет детей и что старый мой род в ней, может быть, и замрет.

Он не ошибался — «старый род» его замер навеки. Не оставив потомства, Луиза Александровна Сухово-Кобылина умерла в глубокой старости во Франции в конце 1930-х годов.

После рождения дочери Надежда Ивановна Нарышкина вышла замуж за Александра Дюма-сына, в семье которого и воспитывалась до совершенно-

летия Луиза Сухово-Кобылина. Александр Васильевич часто навещал дочь и Надежду Ивановну в Париже. Дочь жила с отцом на вилле во Франции в последние годы его жизни. С Дюма Сухово-Кобылин находился в самых дружеских отношениях. Они много раз встречались, переписывались, вместе готовили текст «Свадьбы Кречинского» для постановок в «Одеоне» и «Ренессансе».

Внезапный отъезд Нарышкиной, расцененный как бегство, естественно, лил воду на мельницу генерал-губернаторского следствия.

Несчастную и заподозрили: кто говорит, в соучастии, а кто говорит, в знании о намерении совершения преступления.

*«Дело», действие третье, явление IX*

Подозрения день ото дня подогревались разговорами.

— Вся Москва в клубах и собраниях говорила, что убийство совершено Сухово-Кобылиным, — показывал на допросе купец Феофан Королев, имевший коммерческие дела с Симон-Деманш. — Однажды, когда я месяца через три сидел у ворот дома Сухово-Кобылина, то проходившие два студента сказали: «Вот дом убийцы».

Мнение клубов во времена правления Закревского могло оказаться решающим.

«Много имеют влияния на решения сенаторов просьбы и Английский клуб, — писал Кастор Никифорович Лебедев. — Общественность московская проявляется в клубах, театрах, общественных собраниях и гостиных. Клубы: Английский, Дворянский, Купеческий и Немецкий, все очень посещаемые. Особенно значителен первый, который

граф Закревский называет государственным советом. Там часто решаются дела Сената, оканчиваются тяжбы сделками».

Генерал-губернатор, находившийся под влиянием клубов и собственной обиды, ни минуты не сомневался в виновности Сухово-Кобылина. Дополнив следствие «фактами довольно ярких колеров», Закревский издал указ:

«По важности обстоятельств, сопровождавших убийство иностранки Луизы Ивановны Деманш, признаю нужным нарядить под председательством коллежского советника Шлыкова Особую следственную комиссию для производства исследования о сказанном убийстве и предписываю употребить самые строгие меры к открытию виновных в преступлении и по окончании действий комиссии произведенное следствие доставить ко мне».

«Нарядите следствие — и строжайше, строжайше!» — иронизировал потом Александр Васильевич по поводу этого указа в пьесе «Дело».

Утром 12 ноября, на следующий день после похорон Деманш, во флигель Сухово-Кобылина внезапно нагрянули с обыском. Для Александра Васильевича это был неожиданный удар.

«Дело — злодеяние — повальный обыск! Я один! Надежда Нарышкина уехала», — записывает он в дневнике.

Результаты обыска были ошеломляющими:

«По осмотру приставами городской части Хотинским и Редькиным и следственных дел стряпчим Троицким, учиненному 12 ноября во флигеле Сухово-Кобылина, где он сам жил, оказалось, что в комнате, называемой зале, видны на стене к сеним кровавые пятна. Одно продолговатое на вершок длины в виде распутившейся капли, другое вели-

чиною в пятикопеечную монету, разбрызганное. На штукатурке видны разной величины места, стертые неизвестно чем. Полы во всех комнатах крашены и недавно вымытые, в сенях около двери кладовой видно на грязном полу около плинтуса кровавое пятно полукруглое величиною около аршина и к оному потоки и брызги кровавые частью уже смытые, на ступенях заднего крыльца также видны разной величины пятна крови и частью стертые или смытые».

Это были грозные улики. И они были в руках у Закревского — и в переносном, и в буквальном смысле, ибо следователи топором вырубili из крыльца доски, на которых были кровавые пятна, и унесли их с собой.

Тринадцатого и четырнадцатого ноября в доме Сухово-Кобылина вновь были произведены обыски с изъятием бумаг и писем...

Шестнадцатого ноября 1850 года к дому Александра Васильевича подъехала черная карета, запряженная вороными. Два полицейских офицера с четырьмя вооруженными солдатами, оттолкнув камердинера, прошли прямо к нему в кабинет. Не снимая перчаток, старший чин быстро вытащил из-под шинели бумагу, развернул ее и, держа двумя руками, молча приблизил к лицу Александра Васильевича. Это было постановление Особой следственной комиссии, утвержденное военным генерал-губернатором Москвы:

«Сообразив ответы, отобранные от отставного титулярного советника Сухово-Кобылина, с ответами камердинера его, кучера, дворника и сторожа и найдя разногласие в словах их относительно обстоятельств вечера 7 ноября, а равно приняв в соображение кровавые пятна, найденные в квартире

Сухово-Кобылина, — и так как эти обстоятельства наводят сильные подозрения относительно убийства купчихи Деманш, то постановляем:

Отставного титулярного советника Александра Васильевича Сухово-Кобылина арестовать».

Он прочел постановление, сверкая глазами и в бешенстве стиснув зубы. Он не верил. Кого арестовать?! Его?! Помещика! Столбового дворянина! Потомка тевтонского рыцаря! Крестника императора! Теряя рассудок, он обрушился на полицейских с ругательствами, пытался выгнать их в шею, как гнал кредиторов. Но это были не кредиторы и предъявляли ему не вексель. Ему заломили руки, связали и без шапки вывели на улицу. В толпе любопытных, осадивших дом на Страстном бульваре, раздались возгласы:

— Ведут! Ведут!

Он поставил ногу на подножку арестантской кареты, облепленной комьями замерзшей грязи, оглянулся на толпу.

— Убийца! Убийца! — закричали студенты с красными от мороза лицами, выпрыгивая из темного водоворота качающихся шапок. Согнувшись, он рывком протиснулся в узкий проем. Солдаты хлопнули дверцу, закрыли ее на засов. Бойко орудуя прикладами, они расчистили путь от напиравшей толпы; карета качнулась на рессорах, и два вороных не спеша повлекли Сухово-Кобылина по дороге пожизненного бесчестья.

---

---

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Так извольте вы мне эти  
существенные факты из дела  
выбрать и составить по оному  
мое мнение — и построже.*

А. В. Сухово-Кобылин. Дело

Слава, почет, оvationи, признание академий — эти подарки для своего избранника Великий Слепец еще хранил в тайне. Но имя его уже было известно, хотя еще не было написано ни строчки знаменитой комедии, собиравшей толпы у театральных касс России. Эту первую его «известность» никогда не забудут. Даже на гроб его, сокрытый в земле любимейшей ему Франции, она падет тяжелым камнем презрения и подозрения. Не будет в российских газетах ни одного некролога в память об «отечественном бессмертном», почетном академике изящной словесности, где не вспомнят дни его печальной славы. И, воздавая ему посмертно почести, перечисляя в статьях, взятых в траурные рамки, его триумфы и взлеты, будут писать:

«В первый раз его имя прогремело по всей России, когда ему было около 30 лет. Его, молодого, родовитого, богатого барина обвинили в убийстве француженки Деманш. Был ли он причастен к убийству? Быть может, тут было только несчастное

стечение обстоятельств. А может быть, страшная роковая тайна».

Едва только Александра Васильевича привезли в тюрьму и посадили в «секретную» — одиночную камеру для особо опасных преступников, сырую, темную, без окон, ошестинившуюся острыми выступами шершавых булыжников, он тут же потребовал перо и бумагу. Нет, еще не «Свадьбу Кречинского», строки которой засверкают на серых казенных листах во время его второго, шестимесячного заключения, задумал он писать. Он принялся писать сановникам Москвы и Петербурга безвестно канувшие в бумажную Лету, тлеющие в архиве московского обер-полицмейстера «адреса протестов». Он писал их, не смыкая глаз, в перерывах между жестокими ночными допросами, во время которых в полицейскую часть вдруг являлся сам обер-полицмейстер Лужин и, пристально глядя в глаза Александру Васильевичу, объявлял ему на французском языке, чтобы он «безрассудно не медлил с добровольным признанием», поскольку «запирательство» его «послужит только к аресту» всех близких ему лиц. В ответ Сухово-Кобылин требовал, чтобы ему представили все улики, и продолжал протестовать: против «совершенно произвольного делания в доме моем трех обысков, с выемкою бумаг, вещей и половых досок, нисколько к делу не относящихся, и без объявления следователями основания и повода к учинению оных обысков в дворянском доме»; против «заключения меня под тягчайший арест и содержания в секрете, в Тверской и Мясницкой частях, совершенно без всякого основания, без улик и без чьего-либо голословного оговора, без предварительного разведывания, без огласки: следователи самопроизвольно и пристрастно

направились ко мне в дом, меня арестовали и тем самым привлекли безвинно к делу, а имя и честь мою предали публичному позору». Он гневно вопрошал: «Почему подвергнут я, ограждаемый законами и государей моих жалованными грамотами, дворянин, без всяких улик и обвинений, высшей степени заключения в частной тюрьме, в секретных оной помещениях, об стену с ворами и безнравственной чернью?»

— Что это, а? а? Скажите, скажите мне, кто здесь командует?

— Господин частный пристав.

— А! — частный пристав — частный пристав — а как он смел, частный пристав, меня беспокоить, а? как он смел?

— Да вот извольте объясниться с ними.

— Нет, я спрашиваю: как же он смел? Да знает ли он, кто я? а? Да я... я сам власть имею, а? Я помещик Чванкин!! Да у меня в Саратовской губернии двести душ! Да у меня в Симбирской губернии двести душ! Да у меня черт знает где черт знает сколько душ! Да я... Да он...

— Что прикажете тут делать?

— Попроси их в темную.

— Можно?

— Можно. Пиши постановление, знаешь — там — по форме, сбивчивость речей... нечто тяготеющее душу и прочее.

(Это слова прямо из подлинного дела об убийстве Деманш: «Принимая во внимание обстоятельства дела, навлекающие сильные подозрения... а равно сбивчивость его в речах, смущение его и как бы нерешительность высказать нечто тяготеющее совесть и душу...» **Формы, формы!** Он хорошо изучил их за семь лет бесперывного следствия.)



— Чью душу? Говорите, чью? — мою? Так знайте, что у меня в Саратовской губернии триста душ, да у меня в Симбирской губ...

— Ну-тка в темную!

— Как в темную?! Стой! Вы! — Эй! Стой! Зачем? Я протестую, я адрес! У подножия престола... я у подножия...

*«Смерть Тарелкина», действие третье, явление VI*

В этой сцене беспощадная и желчная самоирония — «высшая потенция нравственности».

До «подножия престола» дело пока еще не дошло. Но вот министру юстиции Сухово-Кобылин уже слал «адрес»:

«Ваше сиятельство.

Закон не позволяет мне видеть Вас, но оскорбление, нанесенное моему имени, и страдания, которые я безвинно и противузаконно должен был вытерпеть, дают мне право беспокоить Вас.

Я не имею никакой нужды в оправдании. Взгляд Ваш на дело убедит Вас в этом...»

Потом и над этим своим письмом он будет иронизировать, изображая диалог недоуменного просителя и умудренного чиновника:

— В чем же невинному человеку оправдываться?

— Невинному, сударь, и оправдываться, а виновный у меня не оправдается — за это я вам отвечаю. Продолжайте.

*«Дело», действие третье, явление IX*

«...но я прошу Вас именем правосудия, которого Вы главный орган, обратить строгое внимание Ваше на вопрос: за что я был взят и содержим в тюрьме и почему судопроизводство не оградило мое имя от дела по смертоубийству. Это вопрос о

чести гражданина, и я не могу допустить в себе мысли, чтобы он не был первым вопросом судебного правосудия».

Что является извечно первым вопросом судебного правосудия в России, он узнает позднее, когда его незрячий поводырь, упорный в своем стремлении открыть ему глаза, проведет его по коридорам всех судебных инстанций империи — от низших до высших. И тогда, отчаявшийся и уставший от беспрестанного требования взяток, от откровенного шантажа, от бесконечных опровержений лжесвидетельств, от подтасовок и фальсификаций, от унижений и оскорблений, он скажет:

— Когда ближе, как можно ближе посмотришь на эту матушку-Расею — какая полная и преполная чаша безобразий. Язык устает говорить, глаза устают смотреть.

И произнесет слова еще более жесткие:

— Богом, правдою и совестью оставленная Россия — куда идешь ты — в сопутствии твоих воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников?

Но в те ноябрьские дни 1850 года он был еще далек от понимания этих истин. И только относительно себя самого, своей судьбы он многое уже прозревал.

«Жизнь начинаю постигать иначе, — пишет он, сидя в тюрьме. — Труд, труд и труд. Возобновляющий освежительный труд. Среди природы под утренним дыханием... Да будет это начало — начало новой эпохи в моей жизни... Мое заключение жестокое, потому что безвинное — ведет меня на другой путь и потому благодатное».

В его могучей, страстной и жизнестойкой натуре была заложена врожденная способность возрождаться из пепла и грязи. И именно эта счастливая

способность, верным признаком которой служит наличие в нем особого внутреннего жала, напитанного ядом язвительных самооценок, а не бодрящие упражнения шведской гимнастики, которую он делал в тюремной камере, чтобы укрепить свои нервы и не сойти с ума, спасла его от отчаяния и разложения духа.

«Мне очень грустно и ужасно одиноко, — писал он сестре Евдокии, — я испытываю судьбу ребенка, избалованного любовью, и учусь быть и жить в одиночестве. Я не думал, что это будет так трудно, и как все такие дети, не знал цены того, что мне давали. Я прохожу школу, как говорится, но к чему?»

Он уже и тогда, во время первого тюремного заключения, был близок к ответу на этот вопрос — к чему?

«Зная наслаждения всякого рода, — писал он, — я прихожу к убеждению, что лучшими из них являются те, которые доставляют нам наука и искусство, — они дают нам возможность говорить *omnia tua tecum porto*\*. Это имеет огромное значение в жизни».

«Адреса протестов» Сухово-Кобылина оставались без ответов. Сановники угрюмо молчали, предоставляя возможность Закревскому единолично распоряжаться судьбой столбового дворянина. И он распоряжался. Он вновь направил следователей в дом Сухово-Кобылина с обыском. Невод и на этот раз был закинут удачно: явились новые улики — кастильские кинжалы. Доставив их завернутыми в бумагу к генерал-губернатору, следователь Троицкий тут же завел новый лист в деле об убийстве Деманш и, аккуратно пронумеровав его, записал:

---

\* Всё мое ношу с собой (*лат.*).

«Побудительной причиной к отобранию при обыске от Сухова-Кобылина двух кинжалов, найденных у него, была записка, в числе многих писанная рукою Сухова-Кобылина на французском языке, который я понимаю. В записке этой он намеревался поразить Симон-Деманш кастильским кинжалом».

К делу была подшита и сама записка, которую Александр Васильевич послал Луизе из Москвы в Останкино летом 1850 года, за несколько месяцев до ее гибели.

«Милая маменька, — писал он французенке, — мне придется на несколько дней остаться в Москве. Зная, что Вы остались на даче лишь для разыгрывания своих фарсов и чтобы внимать голосу страсти, который называет Вам не мое имя, но имя другого! — я предпочитаю призвать Вас к себе, чтоб иметь неблагодарную и клятвопреступную женщину в поле моего зрения и на расстоянии моего кастильского кинжала.

Возвращайтесь и трррррр... пешите».

Кинжалы у него нашлись, два кинжала, обоюдоострых, как и его дело. Они не могли не найтись в доме известного фехтовальщика. И Закревский, когда посылал следователей в дом Кобылина, знал, что кинжалы там найдутся обязательно. Да только не об этих кинжалах шла речь в страстном любовном письме. «Кастильский кинжал» здесь не более (и не менее) чем эротический символ в интимном лексиконе любовников.

«Об этом письме, как улике против него, — пишет Александр Рембелинский, — мне часто говорил сам Сухово-Кобылин, он придавал этому письму совсем другой, игривый любовный смысл».

Но вот это письмо вместе с кинжалами, которые были приобщены к делу в качестве вещественного

доказательства преступления, стало фигурировать во всех обвинительных речах и резолюциях.

«Из числа писем, взятых в квартире убитой Деманш, — указывал министр юстиции, вынося заключение по делу, — в одном, под номером 2, Сухово-Кобылин писал, что решил призвать ее к себе из деревни, чтобы иметь при себе неблагодарную и клятвопреступную женщину и чтобы иметь возможность пронзить ее своим кастильским кинжалом (граф Панин, конечно, не подозревал, какую двусмысленность он говорит. — *В. О.*). Записка эта весьма малая, но Симон-Деманш сохранила ее в своих бумагах. На сие обстоятельство следователям надлежит обратить внимание».

Имея в виду это же послание, обер-прокурор Лебедев подчеркивал: «В некоторых письмах Кобылина к Деманш выражаются неудовольствия, укор в неверности и даже угрозы пронзить ее своим кастильским кинжалом».

Что ж, «кастильский кинжал» Сухово-Кобылина — нет сомнения, улика серьезная: до начала следствия он успел им «пронзить» и «поразить» немало московских ветрениц.

Пока Александр Васильевич сидел в тюрьме, по Москве шатался некий поручик Григорий Скорняков — сентиментальный авантюрист с явными признаками психических отклонений. Этот поручик, выдававший себя за австрийского подданного и потомственного графа Иоганна Мошинского, а на самом деле мелкий мошенник, подделывавший документы об отставке армейским офицерам, рассказывал всем, кто желал его слушать, ужасную историю. Будто какой-то коллежский регистратор

Алексей Петрович Сергеев, «человек, гонимый бурю жизни», встретился с Сухово-Кобылиным в маскараде и предложил ему «свои адские услуги». Сухово-Кобылин «промотал пятьсот тысяч капитала Симон Демьяновой, на нем висел тайный долг, да к тому же Симон Демьянова была женщиной под осень жизни, начинающая увядать красотой». И вот Сухово-Кобылин «решился истребить ее с лица земли и поручил это адское дело вышеозначенному Сергееву за тысячу рублей... Сергеев схоронился в кабинете Сухово-Кобылина за портьерой с кинжалом... Как тигр бросился он на свою жертву и перерезал ей горло. Кровь слил под половицу, и только на стену брызнуло два пятна».

Каково же было изумление Скорнякова, когда Особая следственная комиссия, снаряженная самим военным генерал-губернатором Москвы, удостоила вниманием его персону и призвала его давать показания под присягой. Десять листов клинического бреда внесены в дело с полной серьезностью в качестве полноправного свидетельства. Следователи записывали слово в слово — о «бурях жизни», об увядающей красоте «Симон Демьяновой», о коллежском регистраторе за портьерой, о броске «тигра», и Скорняков, видя их неожиданное усердие, возбуждался с каждой минутой. Он говорил без умолку, не жалея эпитетов и красок для «адской истории». Он бы в порыве чувств и на себя показал, чтобы только стать героем громкой драмы, обсуждавшейся в обеих столицах, если бы не грозившие 20 лет каторги и 100 шомполов.

Вот и голословный оговор в деле появился.

— Эх, эти пятидесятые годы! — говорил Александр Васильевич студенту Сергею Сухонину, посе-

шавшему его на вилле во Франции. — Накануне каторги я был. И не будь у меня связей да денег, давно бы я сгнил где-нибудь в Сибири.

Собирая улики против Сухово-Кобылина, показания свидетелей, а заодно и лжесвидетелей, Закревский преследовал свою цель, следователи — свою. Для них Александр Васильевич был «жирным куском», и они не упускали возможности поживиться.

Капканы были заряжены, сети расставлены, и пора было тянуть. Во время допроса, изложив Александру Васильевичу разнообразные обстоятельства дела и возможные пути его дальнейшего развития, следователь Троицкий вдруг мягко взял арестанта за локоть и повел в свой кабинет... До Сухово-Кобылина никому из русских литераторов не представлялась «счастливая» возможность писать подобные сцены с натуры:

**ВАРРАВИН.** ...я затем коснулся этих фактов, чтобы показать вам эту обоюдоострость и качественность вашего дела, по которой оно, если поведете туда, то и всё оно пойдет туда... а если поведется сюда, то и всё... пойдет сюда...

**МУРОМСКИЙ.** Как же это так и туда и сюда?

**ВАРРАВИН.** Да! И туда и сюда. Так, что законто при всей своей карающей власти, как бы подняв кверху меч, и по сие еще время спрашивает: куда же мне, говорит, Варравин, ударить?!

**МУРОМСКИЙ.** Боже милостивый!

**ВАРРАВИН.** Вот это самое весами правосудия и зовется. Богиня-то правосудия, Фемида-то, ведь она так и пишется: весы и меч!

**МУРОМСКИЙ.** Гм... Весы и меч... ну мечом-то она, конечно, сечет, а на весах-то?

ВАРРАВИН. И на весах, варварка, торгует.

МУРОМСКИЙ. А, а, а... понял.

<...>

ВАРРАВИН. Ну, а сколько б, вы думали, в старину взял бы приказный с вас за это дело?

МУРОМСКИЙ. Я, право, не знаю. Я по этим торгам — неопытен.

ВАРРАВИН. Ну, вы для шутки.

МУРОМСКИЙ. Право, неопытен... Тысячонки бы три взял.

ВАРРАВИН. Тридцать тысяч!

МУРОМСКИЙ. Как!.. Как вы это сказали?

ВАРРАВИН. Да, тридцать тысяч и ни копейки бы меньше приказный этот не взял. Да, слышите: не на ассигнации, а на серебро.

МУРОМСКИЙ. На серебро!!! Силы небесные — да ведь это сто тысяч — это гора!!! Состояние! Жизнь человеческая! — Сто тысяч!

<...>

МУРОМСКИЙ. ...Где я их возьму? Их у меня нет, видит Бог, нет... Что же, стало, Стрешнево продавать? Прах-то отцов — дедов достояние\*. Так нет! Не отдам!

*«Дело», действие второе, явления VI и VII*

— Ну а раз так, любезнейший Александр Васильевич, будем свидетельствовать, а? Извольте дать следствию объяснение о найденных в вашем доме кровавых пятнах... И подробно, подробно, господин Кобылин!

И он стал объяснять, путаясь, сбиваясь с одного на другое:

---

\* Подмосковное имение Сухово-Кобылина Воскресенское, которое «растаяло на взятках», было родовым гнездом, где сам он родился 17 сентября 1817 года, где появились на свет его отец, герой Отечественной войны 1812 года, полковник гренадерского полка, дед и прадед.



— При осмотре квартиры моей действительно найдены два, весьма малых, кровавых пятна не в зале, а в прихожей комнате, ведущей в сени и в кухню, происшедших от двух капель на стену, поелику я проживаю в этой квартире только с четвертого числа сего месяца, до меня же жили в оной многие из моих родственников, а в особенности мать моя и тетка, тайная советница Жукова, со своим семейством, состоявшим из восьми человек с прислугою, имея двух больных дочерей, коих она пользовала, как то: ставила пиявки и тому подобное, и, наконец, здесь же проживала, тою же осенью, двоюродная сестра моя, тайная советница Бороздина с девкою; а потому я совершенно не могу определить причины, по которой оные капли на стене оказались. К тому же, как заметно, они были стары и вся стена довольно ветха, что доказывает во многих местах осыпавшаяся штукатурка. При этом необходимым нахожу я присовокупить, что камердинер мой подвержен кровотечению из носа, и потому немудрено, что, живя в этой комнате и обертываясь к стене, он и сам мог запачкать оную, а равно и прислуга матери моей, потом тайной советницы Жуковой и, наконец, тайной советницы Бороздиной, которая помещалась в этой комнате, легко могли запачкать стену сими двумя кровавыми пятнами по какому-либо болезненному припадку или случаю, как то: обрезу, уколу и тому подобное; что же касается до кровавых пятен, замеченных в сенях, ведущих в кухню, а равно и на ступенях крыльца черного, ведущего в ту же кухню, то, без всякого сомнения, они произошли от поваров, которые в сенях прикалывали живность для стола.

Министр юстиции граф Панин нашел это объяснение «не заслуживающим никакого вероятия».

Пройдет время, и Панин усмотрит в нем «вполне разумные доводы». Нет, Виктор Никифорович не забудет своего первого мнения и обвинительных резолюций. Этот человек, по свидетельству сослуживцев и многочисленных биографов, обладал не только «изумительным и чарующим красноречьем», но и «памятью необыкновенной». Он помнил наизусть, от корки до корки, весь Свод законов и при докладе дел в Государственном совете «удивлял всех знанием обстоятельств оных». К своим словам министр относился с чрезвычайной ревностью. «Раз данную им на представленном докладе или вступившей бумаге резолюцию, — пишет сенатор Семенов, — граф уже не считал возможным изменить, полагая, что этим умалил бы достоинство своего звания и положения, хотя бы такая резолюция была дана им по ошибке или недоразумению или была бы вовсе неисполнима».

Да, министр юстиции был тверд в словах и поступках. Старший юрисконсульт министерства Колмаков утверждал, что на убеждения графа «не влияли никакие ходатайства высокопоставленных лиц; он равно относился ко всем, и для него буква закона была превыше всего». Правда, верный чиновник, ставший под старость биографом графа, тут же с горечью добавлял: «А между тем говорили и писали, что будто бы граф Панин не был самостоятелен и справедлив в мнениях своих и что будто бы он желал угождать особам и лицам, близко стоявшим ко двору или к высшим властям». Что ж, букву закона граф Панин чтит. Но была и другая буква — «я». Поставленная в сочетании с «высочайшим именем» на резолюцию, прямо противоположную мнению Панина, она становилась превыше любого закона, ибо над ней незримо сияла

корона российского самодержца. Эта буква приводила Панина в трепет, превращала в послушного попугая, и он, докладывая в Сенате свое «новое мнение», противоречащее прежнему, громко выкрикивал свое маленькое, по сравнению с этим большим и грозным, но всё же важное министерское «я».

Может быть, именно это глубокое чувство родства с забавной птицей побудило однажды Панина завести в Министерстве юстиции попугаев. Сенатор Семенов, служивший под его началом, вспоминает об этом с искренней нежностью: «Как-то раз Виктор Никифорович поручил экзекутору и казначею департаментов Министерства юстиции Ивану Матвеевичу Лалаеву купить несколько попугаев поречистее и велел расставить их в клетках у себя по разным комнатам. Во время его занятий, когда, утомленный долгим сидением, он вставал, чтоб пройтись по залам своей просторной квартиры в доме Министерства юстиции, попугаи начинали кричать и болтали. Это настолько утешало его, что он говорил, что одиночество стало для него легче с тех пор, как у него попугаи, что он слышит у себя как бы живую речь и чувствует, что он не один...»

И не он один...

Кровавые пятна оставались самой грозной уликой против Сухово-Кобылина. Но для того, чтобы на основании этой улики признать его виновным в убийстве, следственной комиссии необходимо было установить три факта: во-первых, что эти пятна крови появились во флигеле Сухово-Кобылина между 7 и 9 ноября; во-вторых, что кровь, обнаруженная на ступеньках крыльца и на стене, принад-

лежит человеку; в-третьих, что это кровь Луизы Симон-Деманш.

Закревский надеялся получить подтверждение этих фактов от медицинской конторы полиции, куда он и направил доски с кровавыми пятнами и куски штукатурки, доставленные ему следователем Троицким. Ответа генерал-губернатор ждал с нетерпением, торопил экспертов, посылая курьеров в контору через каждый час. Получив, наконец, запечатанное в конверт заключение медицинской конторы, Закревский заперся в кабинете и велел никого к нему не пускать. Арсений Андреевич волновался. Он не исключал, что, быть может, держит сейчас в руках баснословный вексель на светского донжуана и острослова, оплатить который можно только одной монетой — двадцатью годами каторги. Закревский распечатал конверт, быстро пробежал глазами подробные описания размеров и конфигурации пятен, прочие мелочи, подмеченные скрупулезными медиками, и остановился на главном. И в этой своей главной части документ гласил:

«Что же касается до предлагаемых Комиссией вопросов: человеческая ли кровь на кусках дерева или нет и каковому именно времени должно отнести появление кровавых пятен на штукатурке — то решение этих вопросов лежит вне границ, заключающих современные средства науки».

— Дармоеды! — выругался Закревский, бросив бумагу на стол.

Карта была бита, но партия еще не проиграна. Даже при таком заключении медицинской конторы дело сохраняло «качательность» и «обоюдоострость». Куда его повести, зависело от искусства следователей.

Александра Васильевича вновь вызвали на допрос. От него потребовали дать объяснение, почему он, еще до отыскания трупа Деманш, с таким «упорством и убеждением» высказывал предположение, что француженки нет в живых.

— Вы знали об этом, господин Кобылин. Вы даже знали, где лежит ее мертвое тело! Без вашей помощи мы его не смогли бы найти, не так ли?

Александр Васильевич стал терпеливо и обстоятельно говорить о состоянии беспокойства, которое приводило его «к мыслям самым ужасным, теперь подтвердившимся». При этом он сослался на письмо поручика Сушкова, стараясь доказать следователям, что не только у него, но и у постороннего человека могли возникнуть подобные опасения и что это вполне естественно.

Письмо Сушкова уже находилось у следователей. Жирными линиями в нем были подчеркнуты слова: «...в Петровском обворовали и даже могли убить», «...произошло какое-нибудь несчастье», «...полиции оно уже известно».

У следствия возникла версия: а почему бы Сушкову, близкому другу Сухово-Кобылина, не быть соучастником преступления? Поручика вызвали на допрос и предъявили ему письмо, указывая особо на подчеркнутые места.

— Письмо это было написано мною очень скоро, впопыхах, не перечитывая, — объяснял напуганный Сушков. — Я в нем написал всё, что только мог придумать для успокоения господина Кобылина, и, зная привычку Деманш ездить гулять по вечерам в парк на извозчике, сделал и это предположение — о том, что Деманш могла быть ограблена и убита.

Из письма поручика следовало, что Деманш была у Эрнестины Ландрет за несколько часов до свое-

го исчезновения: «...она, уезжая от Эрнестины, говорила, что ей хотелось бы еще погулять в санях». Следователи ухватились за этот факт. Допрос Сушкова показал, что Луиза провела у Эрнестины в Газетном переулке всю вторую половину дня 7 ноября. Выяснилось также, что и поручик Сушков был вместе с ними. Его заставили дать подробный отчет об этом дне, он давал его трижды, отвечая каждый раз на одни и те же вопросы, поставленные в разной последовательности. Его показания следователи тщательно сопоставляли с показаниями Эрнестины и кучера Луизы, пытаясь найти разногласия, но всё безрезультатно. Допросы Сушкова никаких улик против Сухово-Кобылина и самого Сушкова не дали.

Однако Закревский решил на всякий случай держать поручика на крючке. Он крепко-накрепко привязал его к делу Сухово-Кобылина, предъявив ему обвинение в незаконном сожительстве с французенкой Ландрет и сокрытии от властей незаконного сожительства Кобылина с французенкой Деманш. Это давало возможность полиции взять с поручика (до решения судом вопроса о его наказании) подписку о невыезде с обязательством являться на допросы по первому требованию и в любое время. При этом Закревский дал тайное распоряжение следователям вызывать Сушкова в полицию регулярно, если не каждый день, то, по возможности, через день. Выдержать такое было непросто. Закревский надеялся, что рано или поздно поручик «заговорит».

В первые дни ареста Александр Васильевич не предпринимал никаких продуманных действий в свою защиту, кроме того, что писал жалобы и про-

тесты высшим сановникам. Показания он давал совершенно безучастно, не вникая в дело, в замыслы Закревского. Но обстоятельства складывались так, что дальнейшее его неучастие могло привести к непоправимым последствиям. И он опомнился. Он начал действовать. Он потребовал, чтобы ему дали прочесть копии допросов его крепостных по делу об убийстве Деманш.

Внимательно изучив протоколы следствия, он понял, что первое, что выбивает у него почву из-под ног, — это показания его дворника, сторожа и повара, в которых утверждалось, что вечером 7 ноября он никуда не выезжал из дома. На основании этих показаний следователи делали вывод, что на балу у Нарышкиных он не был, а в своих показаниях от 10 ноября стремился «ввести комиссию в заблуждение», заявляя, что ужинал у Александра Григорьевича с восьми часов вечера до второго часа ночи. Он поинтересовался, были ли опрошены гости или прислуга Нарышкиных, и выяснил, что их показаний в деле нет. И тут только он начал понимать, как и кем затягивалась петля на его шее. Александр Васильевич заявил ультиматум следствию: он отказывался давать какие бы то ни было показания, пока не будут опрошены дворовые люди и гости Нарышкиных. Закревский вынужден был дать следователям разрешение на эти допросы.

— Сухово-Кобылин с седьмого на восьмое число ноября у господ моих был вместе с сестрою своею графинею Салиас, — показал дворовый Нарышкиных Павел Рудаков. — Прибыл он часа в четыре вечера и был часу до первого ночи и уехал вместе с графинею. К Кобылину в то время никто не приходил и никто его не спрашивал.

Показание его полностью подтвердил нарышкинский дворовый Михаил Беляев, при этом он уточнил, что прибыл Сухово-Кобылин не в четыре часа, «а часу в седьмом вечера».

Впрочем, эти свидетельства Закревский мог поставить под сомнение. По логике его версии Нарышкина, уезжая за границу, могла дать особые распоряжения своей прислуге, запугать или подкупить ее. Но было и другое показание — статского советника Бутковского, одного из гостей Нарышкиных, дворянина, добросовестного служащего, почтенного отца семейства.

— У Нарышкиных был вечер седьмого ноября, — свидетельствовал он. — На этом вечере я был, приехал в десятом часу; когда я приехал, Сухово-Кобылин там уже находился и там остался еще после моего отбытия в первом часу.

Алиби Сухово-Кобылина как будто восстанавливалось. Оно могло бы быть несомненным, если бы медики того времени могли точно установить час наступления смерти Деманш, но это, как и вопрос о кровавых пятнах, оставалось «вне границ, заключающих современные средства науки».

Тем не менее допросы прислуги и гостя Нарышкиных изменяли положение дела в пользу Сухово-Кобылина. В соответствии с показаниями целой группы свидетелей — горничных Аграфены Кашкиной и Пелагеи Алексеевой, кучера Галактиона Козьмина, повара Ефима Егорова — Симон-Деманш возвратилась домой от Эрнестины Ландрет в девять часов вечера и, «пробывши дома не более часа, не сказавши куда, пошла в одном и том же платье и теплом салопе, сказав только, что скоро возвратится домой». Следовательно, она вышла из своей квартиры в Брюсовом переулке около десяти



часов вечера, после чего ее уже никто не видел. Сухово-Кобылин, по свидетельству Бутковского, в десятом часу уже находился у Нарышкиных, а уехал от них не ранее первого часа ночи, домой на Страстной бульвар возвратился во втором часу, «был раздет камердинером и лег спать». С семи часов утра он уже ни на минуту не оставался один. Таким образом, с Луизой он мог встретиться только в период с первого до второго часа ночи. За это время должно было произойти убийство с нанесением множества увечий и с предварительными «бурными сценами», труп должен был быть вывезен за Пресненскую заставу самим Сухово-Кобылиным или его дворовыми, которых нужно было еще разбудить, уговорить, заставить — и всё это за один час, с проворностью немыслимой, не возбуждая подозрений еще не уснувшего города, где полным ходом шли разъезды гостей из дворянских домов. Как-то не вяжется.

Но тут была еще одна зацепка. А что если не был «раздет камердинером» и не лег спать? Что если камердинер, старый и верный лакей, проинструктированный барином, лгал? Тогда отрезок времени, не перекрытый алиби, значительно увеличивался: с часу ночи до семи утра. Достаточно для того, чтобы совершить преступление, отдать все необходимые распоряжения и по возможности скрыть следы. При этом возникают другие вопросы. Где была Луиза с десяти часов вечера до часу ночи? Ездил по городу? Поджидала Александра Васильевича в его флигеле? Как она туда вошла, не замеченная сторожем, дворником, кучером, прислугой? На чем вывез Сухово-Кобылин ее труп из своего дома, если «сани его были в починке», а извозчика, который бы помогал ему в ту ночь или в экипаже которого остались бы кровавые следы, не нашлось?

Комиссия конечно же не занималась расследованием этих вопросов. Чтобы оправдать Сухово-Кобылина, нужно было поверить камердинеру Лукьянову; чтобы обвинить его, нужно было признать показания камердинера ложными. Дело легко поворачивалось «и туда и сюда», и это было чрезвычайно выгодно следователям. Именно такие «обоюдоострые» дела приносили чиновникам следственного аппарата самые крупные дивиденды, представляя собой нечто вроде надежных акций доходнейшего предприятия: можно было брать взятки с заинтересованных лиц и вести расследование в любом направлении без явного нарушения буквы закона. Последнее было немаловажно, ибо только неискушенные новички шли ради взятки на грубую подтасовку, заметную невооруженным глазом и чреватую лишением должности. Опытные и благо-разумные чиновники организовывали вокруг дела тонкую игру. Это была виртуозная эквилибристика. Дело строилось так, чтобы его «качательность», возникшая случайно или стараниями чиновничье-го коллектива, сохранялась постоянно и была неустранимой.

Поскольку следствием отвергалась возможность нападения на Деманш извозчика, Александр Васильевич стал настойчиво выдвигать свою версию: Луиза всё же была убита с целью ограбления. Он утверждал, что в описи драгоценностей, найденных на трупе, нет вещей, которые Луиза носила при себе постоянно: золотых часов женевской работы (это был его первый подарок француженке), бриллиантовой булавки и броши с изумрудами, — и что убийцы пытались навести подозрение на извозчиков, для чего и вывезли мертвое тело за Пресненскую заставу и бросили его близ наезженной дороги.

«Присутствие на покойной Деманш серег бриллиантовых и двух колец, замеченных полицией при подъеме тела, — писал он в записке на имя министра юстиции, — потому самому ничего не доказывает относительно намерения убийц, что, так как преступление совершено ими в смысле грабежа, произведенного будто бы извозчиком, и самые вещи, бывшие при ней, — часы, цепь, булавка и брошка с этой целью на ней не оставлены, то по той же причине не следовало при ней оставаться ни серьгам, ни кольцам, а если они остались, то, вероятно, потому только, что ускользнули от внимания преступников или, что еще вероятней, просто второпях были ими забыты».

Граф Панин холодно отверг эту версию, изложенную Сухово-Кобылиным довольно путано и противоречиво.

«Предположение это устраняется само собою, — заключил министр, — при одном соображении с осмотром мертвого тела Деманш, которое найдено с бриллиантовыми серьгами в ушах, в золотых супирах с бриллиантами на руках и золотым кольцом. Сверх сего в квартире ее оставлены в целости бриллиантовые и серебряные вещи и два билета Московской Сохранной Казны в восемьсот рублей серебром на имя неизвестного. Из сего можно предположить, что к убийству Деманш долженствовала быть другая побудительная причина».

Какая — граф Панин прямо не сказал. Но было ясно, что причину следует искать в отношениях Сухово-Кобылина и Симон-Деманш. Для исполнителей, фиксирующих малейший поворот высокопоставленной мысли, это было четким указанием, в каком направлении «долженствует» вести дело.

Особая следственная комиссия, сформированная военным генерал-губернатором Москвы, могла уже подводить некоторые итоги. У нее имелись следующие факты и материалы, которые, при соответствующем истолковании, могли стать прямыми или косвенными уликами против Сухово-Кобылина:

1. Кровавые пятна во флигеле.
2. Записки Нарышкиной аббату Кудеру.
3. Преждевременное предположение Сухово-Кобылина о том, что Деманш убита, а также указание им места, где следует искать ее труп.
4. Письмо с угрозой пронзить кастильским кинжалом, а также сами кинжалы, найденные при обыске.
5. Приезд плотника на квартиру Деманш с приказанием Сухово-Кобылина взломать комоды и доставить ему письма и бумаги француженки.
6. Свидетельство поручика Скорнякова.
7. Показание поляка Радзивилла о том, что в ночь с 7 на 8 ноября криков из квартиры Деманш не было слышно, а также следственный эксперимент, подтвердивший, что, если бы таковые были, не услышать их было бы нельзя.
8. Показание прислуги о том, что Сухово-Кобылин никогда не был так сильно обеспокоен отлучкой Деманш, как утром 8 ноября.
9. Отсутствие у Сухово-Кобылина алиби на период с часу ночи до семи часов утра.
10. Обнаружение драгоценностей на убитой Деманш, исключающее возможность убийства с целью ограбления.
11. Общий тон переписки любовников, свидетельствующий о всевозрастающей ревности Деманш и раздражении Сухово-Кобылина.

Российскому судопроизводству этих материалов было вполне достаточно, чтобы признать Сухово-Кобылина виновным в убийстве француженки, и Закревский, полагаясь на красноречие прокуроров, уже готовил свою резолюцию по делу для представления ее министру юстиции и государю... Несколько месяцев судебной процедуры, а потом короткое прощание с родными под взорами полицейских, слезы, рыдания — и столбового дворянина повезут вдоль верстовых столбов Владимирской дороги. Словом, всё шло хорошо.

Но вот 20 ноября под вечер произошло совершенно неожиданное, никем не предвиденное событие: находящийся под стражей в Серпуховской тюрьме дворовый человек Сухово-Кобылина повар Ефим Егоров сознался в убийстве Деманш. Это был гром среди ясного неба!

Признание Егорова было получено стараниями частного пристава Стерлигова, незаметного чиновника, который не входил в группу следователей Особой комиссии. Он трудился, так сказать, на обочине главной дороги, по которой двигалось следствие, и, действуя единолично, как он сам объяснял, «признал необходимым подвергнуть Егорова строжайшему заключению в секретной комнате, дабы через уединение предоставить его суду собственной совести, почему отослал его в Серпуховской частный дом».

Само это решение Стерлигова — искать убийц в кругу прислуги Деманш — свидетельствовало, что он был не в курсе того направления, которое упорно давали делу Закревский и Панин, и не знал о системе капканов, которыми следователи Особой комиссии обложили Сухово-Кобылина, пользуясь одобрением высших сановников. Следственная

братия была в отчаянии. Сложнейшая конструкция, сооруженная для поддержания «качательности» дела, рушилась на глазах; надежные акции сгорали прямо в руках. Стерлигов, сам того не подозревая, спутал все карты, сломал продуманную игру. Потом, когда пройдет время, когда улягутся страсти, Александр Васильевич коротко и едко обрисует эту ситуацию устами одного из персонажей «Дела»: «Боже мой — он всё изгадил! Нынче всякий по-своему, просто хаос».

Получив срочное донесение о «происшествии» в Серпуховской полицейской части, Закревский вытащил из сейфа и положил перед собой на стол широкий плотный лист, украшенный двуглавым орлом и росчерком государя. Двигая желваками и краснея от прилившей к голове крови, он макнул перо в чернильницу, занес его над чистой бумагой и долго смотрел в эту белую пропасть, способную поглотить и раскрошить в своих глубинах не то что частного пристава — полковника, генерала, кого угодно! Ах, если бы засунуть это показание в глотку Егорова, а Егорова в глотку Стерлигова, а Стерлигова... Но было поздно.

Признание Егорова было написано собственноручно; получив его, расторопный Стерлигов тут же одел арестанта в солдатскую шинель, посадил в казенный экипаж и доставил к обер-полицмейстеру Москвы. В кабинете Лужина Егоров подтвердил свои показания в присутствии свидетелей, писарей и должностных лиц. Важный вид высоких чиновников и их пристальные взгляды, обращенные на него, нисколько не смущали повара. Он рассказывал невозмутимо, с простодушной деловитостью:

— Купчиху Луизу Ивановну Симон-Деманш при жизни я знал более десяти лет, потому что она

была любовницею моего барина и распоряжалась в доме у нас как барыня; барин ее любил и много слушал, а она пользовалась этим и много наговаривала ему на людей, за что и терпели наказания не только те люди, которые жили при ней на квартире, но даже в доме барина все люди наши ее ненавидели, а в особенности бывшие у нее в прислуге. Последнее время пред смертью она еще сделалась злее и капризнее, и как я по поварской должности всех чаще бывал у нее на квартире, то и всегда почти разговаривали между собою, как бы от нее освободиться. Седьмого числа ноября, вечером, по обыкновению пришел я к Луизе Ивановне Деманш за приказанием насчет кушанья — это было часу в восьмом; ее не было дома, и я, сидя с девушками Аграфеною Ивановой и Пелагеею Алексеевой, опять возобновил разговор, как бы окончить задуманное дело, и долго разговаривая, окончили тем, что решились в ту же ночь убить ее. Об чем я велел сказать Галактиону Козмину, служившему при ней дворовому человеку нашему, который за болезнью кучера ездил с ней в Газетный переулок к мамзели Эрнестине. Я думал было идти домой, как она с Галактионом возвратилась и, увидев меня, сказала, чтоб я узнал, будет ли барин кушать дома, и чтобы приходил за приказанием поутру, а между тем дала запечатанную записочку к барину и приказывала, чтобы он прислал ответ. Выйдя из комнат, я пошел к Галактиону, который убирал лошадь, и там объявил ему, что ночью приду и мы убьем Луизу Ивановну. Возвратясь домой, записку, по небытности барина дома, отдал камердинеру Макару, а сам пошел наверх в людские комнаты и лег спать. Макару в половине второго часу пришел ко мне наверх и велел сказать Луизе Деманш, когда приду к ней

поутру, что обедать барин дома не будет и что готовить надо только один завтрак, а также сказать, чтоб не ждала ответа на записку. Макар ушел, а я немного погодя встал и пошел на квартиру Симон-Деманш. Комната, где спала Пелагея с Галактионом, прямо из сеней была незаперта по условию нашему. Я, придя, тотчас окликал Галактиона, который встал, и мы пошли в спальню Деманш. Она спала, лежа на кровати навзничь; на столе, по обыкновению, горела в широком подсвечнике свеча. Я прямо подошел к кровати, держа в руках подушку Галактиона, которой, накрыв ей лицо, прижал рот. Она проснулась и стала вырываться; тогда я схватил ее за горло и начал душить, ударив один раз кулаком по левому глазу, а Галактион между тем бил ее по бокам утюгом. Когда мы увидели, что совсем убили ее, то девки Пелагея и Аграфена одели ее в платье и надели шляпку, а Галактион пошел запрягать лошадь, и когда было готово, то он пришел в комнаты, взял вместе со мною убитую Деманш и, уложив в сани вниз, прикрыл полостью; Галактион сел кучером, а я в задок. Ночь была темная, и мы, никем не замеченные, выехали за Пресненскую заставу, за Ваганьковское кладбище, где в овраге свалили убитую; но опасаясь, чтобы она не ожила на погибель нашу, я перерезал ей бывшим у Галактиона складным ножом горло, который там же где-то недалеко бросил. Окончив это дело, возвратились на квартиру Симон-Деманш, где девки всё уже убрали как надобно; чтобы отвлечь подозрение, мы сожгли в печке салоп Деманш и уговорились, чтоб Галактион, Пелагея и Аграфена при спросе говорили, что она неизвестно куда вышла со двора вечером и больше не возвращалась.



Вслед за Егоровым в преступлении сознались Галактион Козмин, Аграфена Кашкина и Пелагея Алексеева. В их показаниях были некоторые расхождения. Галактион утверждал, что Егоров задушил Деманш полотенцем (а не руками) и перерезал ей горло своим (а не его) ножом. «В овраге, — писал он в собственноручном признании, — Егоров снял с шеи ее полотенце, и ему показалось, что Деманш захрипела, тогда он имевшимся у него принадлежащим ему складным ножом перерезал ей горло».

Иначе помнились Галактиону и Пресненская застава, и выезд из Москвы, и кружение по городу с трупом в саниах. События этой ночи еще долго являлись ему страшным сном:

— Ночью сделалась сильная метель снега. Выехали мы переулками на Никитскую улицу, чтоб ехать за Пресненскую заставу, я кучером сидел, Ефим ездоком, а рядом другой ездок — она... От страха ошиблись, и вынесло нас к Смоленскому рынку. Мы тогда к будочнику: как проехать к Пресненской заставе? И он нам показал дорогу. Подъехали мы к заставе, а там при шлагбауме двое караульных. Ефим выскочил из саней. Прочь, говорит, с дороги, барыню везем. Тут Ефим и признал одного караульного, Алексея Крестова. Они с ним друзьями были, вместе в карты играли в заведении сапожника Цармана, что [в] Тверской части в доме Захарова, и девок от того же сапожника Цармана брали. «Что, не узнал Ефима Егорова?» А тот ему: «Как не узнать, узнал». — «А помнишь ли ты, сколько должен мне по игре?» — «Помню». — «А девку Татьяну Максимову проиграл?» — «Проиграл, воля твоя». — «Долг я тебе прощаю и девку оставляю, милуйся с ней». — «А чего же возьмешь с меня?» — «Ничего.

Спросят вас — никого не видели. Понял теперя?» — «Так точно». Вот мы тогда и выехали за заставу... А утром в трактире «Сучок», что на Маховой, пили водку и чай. У Ефима была кредитка в пятьдесят рублей. А потом ходили к мещанину Сергею Федорову, у него табачная лавка в доме Захарова. Ефим ему показывал золотые часы, спрашивал, не купит ли. «Откуда у тебя такие?» — «Стало быть, где-нибудь достал». И как часы никто не купил, Ефим завернул их в какое-то любовное письмо камердинера Лукьянова и бросил на чердаке господского дома...

Вечером 22 ноября пристав Мясницкой части, получив приказ председателя Особой следственной комиссии Шлыкова, открыл двери секретной камеры и, не переступая порога, зачитал из коридора Александру Васильевичу, уже устроившемуся на «казенный ночлег», постановление о его освобождении. В тот же вечер пристав письменно доложил следственной комиссии, что «отставной титулярный советник Сухово-Кобылин из-под стражи освобожден и о невыезде из Москвы обязан подпиской».

— Сударь, извольте дать подписочку о невыезде из города.

— К чему же подписку; что за подписка, я и так из города никуда не поеду.

— Так уж форма.

— Я вам говорю, что не поеду, так вы можете верить. Кажется, между благородными людьми и благородного слова довольно.

— Нельзя-с.

— Однако, черт возьми, когда я говорю, так довольно!..

— Ей, Качала!..

- Что это?.. Стойте!.. Опять в темную?!
- Да-с. Мы уж попросим опять. Несите в темную.
- Ну так я подписку, — я лучше подписку — стойте!.. окаянные! Я даю подписку!! Две подписки!!
- Качала!.. Назад!..
- Я с удовольствием — я с большим, черт возьми, удовольствием... вам подписку дам... я хоть три подписки дам.

*«Смерть Тарелкина», действие третье, явление IX*

Так он смеялся над собой, изображая помещика Чванкина.

О его освобождении никто из родных еще не знал, карету за ним не прислали, извозчика он нанимать не стал. В сумерках, покачиваясь от нервной усталости, опьяненный свежим морозным воздухом этого «переломного трагического ноября» своей жизни, он шел пешком на Страстной бульвар. Он смотрел на длинные тени, скользящие по атласным шторам в светящихся окнах дворянских домов, рассеянно слушал тоненькие, глухо повизгивающие звуки бальных мелодий, похожие отсюда, с улицы, на грустно-усердное стрекотание шарманки, и старался не думать ни о прошлом, ни о будущем: «...в сущности, что такое наши расчеты на будущее — почти всегда занятие совершенно бесполезное». Он вынес из своего первого тюремного заключения зерна того желчного спокойствия, того презрительного равнодушия к миру, которое потом позволит ему годами уединенно трудиться над философскими трактатами и сочинять в Кобылинке грандиозную в своей бессмысленности «Формулу Всемира»:

$$-0 : 1 = 1 : \infty.$$

Да еще восклицать при этом с торжествующим отчаянием: «Вот свет истины!»

Нет, тогда он конечно же был еще далек от этой злой старческой насмешки над миром, от этой надменной прихоти ума — взять и вместить все свои знания о жизни в бесполезную формулу и любоваться ею, находя великие истины в недоказуемом равенстве абсурдных величин. В тот ноябрьский день, всматриваясь в себя, он открывал другие истины: «...действительные чувства не подчиняются четырем правилам арифметики, одно чувство стоит больше, чем три или четыре... я дорого заплатил за эту маленькую и простую истину». И этим одним действительным и мучительным чувством была Луиза: «Святая и тихая жизнь сердца, не ценил я тебя тогда, когда ты проникала всё мое существо, а теперь, когда вокруг меня страшно пусто, знаю я твою цену...» За это горькое и запоздалое знание ему еще предстояло платить своей честью и свободой долгих семь лет...

В XV томе Свода законов Российской империи была 1150-я статья, гласившая: «Собственное признание подсудимых несомненно составляет полное и совершенное доказательство — и не требует никаких дальнейших переследований».

Но была в том же томе другая статья, 1181-я, в которой говорилось: «Признание подсудимого почитается доказательством совершенным, когда оно вполне сходно с происшедшим событием и когда показаны при том такие обстоятельства действия, по которым о достоверности оно сомневаться невозможно».

Эта статья давала широкий простор для сомнения, и министр юстиции с военным генерал-губер-

натором Москвы засомневались. А вслед за ними засомневались сенаторы, следователи, обер-прокуроры. И дело, изголодавшееся за несколько недель ввиду замешательства обслуживающего персонала, вновь получило солидную подкормку и стало стремительно прибавлять в весе. По выслушивании его в шестом департаменте Правительствующего сената «одна особа», как говорится в протоколе, — а именно обер-прокурор Лебедев, — «высказала мнение»:

— Возможно ли принять за справедливое, чтобы девки занялись столь тщательным убранством убитой, в каком она была найдена в поле, убранством, требовавшим много времени, тогда как убийство совершено перед рассветом, мало этого, они в уши вдели серьги, а на руки кольца, супиры, перстни, брошку и булавку, и всё это для того, как показал Егоров, чтобы полагали, что Деманш убита и ограблена извозчиком; как же это сообразить, заставить думать, что ограбил извозчик, и надевать на мертвую вещи, тогда как для внушения этой мысли требовалось оные снять, если бы до убийства на ней и находились.

«Другая особа» — сенатор Хотяинцев — «заметила»:

— Так же ложь видна относительно сожжения салоп, ибо к чему его жечь. Убийцы говорят, для того, чтобы совлечь подозрение, что Деманш убита в спальне. Салоп, если б находился на убитой, не только не отвергал мысли этой, но подкреплял бы еще оную.

А «третья особа» — сам министр юстиции граф Панин — «заклЮчила»:

— По осмотру тела оказалось, что горло около перереза завернуто волосами распущенной косы, что могло служить для одного лишь удержания

стремительного течения крови. Принятие подобной меры в поле, в овраге, было бы излишним и даже опасным для убийцы, которому надлежало горопиться уехать и не оставить на себе кровавых следов преступления. Для перереза горла ножом после того, как уже тело было вывалено в овраг, убийце надлежало выйти из саней, подходить к телу и потом возвращаться к саням. Такое действие не могло не оставить на снегу в овраге следов человеческих. Между тем в осмотре места, учиненном 9 ноября, обнаружены лишь следы копыт и саней, человеческих же следов нет. Соображения эти ведут к тому убеждению, что Деманш зарезана не в поле и не в ее квартире, в которой по осмотру следователем 10 ноября знаков крови не найдено.

Если не в поле и не на квартире, то оставалось только одно место — флигель Сухово-Кобылина. Но граф Панин, следуя своему правилу, которое составляло одну из особенностей его красноречия, уклонялся говорить об этом прямо.

Мнения посыпались одно за другим, и все они были суть сомнения в достоверности показаний Егорова. Сухово-Кобылин вместе с помещиком Муромским вздыхал:

...сенат опять взошел, сначала, говорит, обратиться к переследованию — это значит опять на четыре года; а потом пошел на разногласия. Составилось по этому бедственному делу девять различных мнений.

*«Дело», действие третье, явление IX*

Рассуждения о казусах отечественной юриспруденции автор вкладывает и в уста Варравина и Тарелкина:

— Кроме этих мнений и солисты оказались.  
<...> И одно мнение по новой формуле.

— По какой это?

— А не не-веро-ятно!.. <...> Извольте видеть: относительно незаконной связи Муромской с Кречинским вопрос подвигнут далее, а именно, что при такой-де близости лиц и таинственности-де их отношений не неверо...ятно... что мог оказаться и ребенок.

*«Дело», действие второе, явление VIII*

Взбешенный всеми этими «особыми мнениями» и в первую очередь тем, что на заседаниях Сената зачитывались вслух его любовные записки, Александр Васильевич во всех своих последующих показаниях стал отрицать не только любовную связь с Нарышкиной, но и с самой Симон-Деманш.

— С Нарышкиной я никогда никакой связи не имел, — заявил он на допросе 13 сентября 1851 года. — От Симон-Деманш никогда не удалялся, и отношения мои с нею всегда оставались как прежде, то есть уважения к ее отличным качествам, привязанности и совершенного доверия. Любовной связи с нею я никогда не имел. И довольно естественно, что близость наша давала повод людской молве перетолковывать отношения наши в обидную для женщины сторону.

«Соображения» министра юстиции, высказанные в Сенате, подкреплялись медицинской конторой московской полиции, которая вновь была привлечена Закревским к деятельности Особой следственной комиссии и сделала следующее заключение:

«При перерезе больших кровеносных сосудов шеи, каковые в особенности суть сонные артерии и яремные вены, происходит в живом теле чрезвы-

чайно обильное и стремительное кровотечение, какого, однако, на том месте, где найдено было тело Деманш, несмотря на совершенное почти в оном бескровие, не было замечено, ибо количество крови усмотрено малое, примерно простирившееся только более фунта».

Заключение это, по сути дела, прямо указывало на то, что убийство Деманш могло произойти только во флигеле Сухово-Кобылина, где были найдены «потоки и брызги кровавые, частью уже смытые». При этом ни медицинская контора, ни сенаторы, ни обер-прокуроры не обращали ни малейшего внимания на показания повара Ефима Егорова от 22 ноября 1850 года, в которых тот признался:

— В сенях я резал цыплят и кур, отчего и кровь в оных оказалась, и, помнится мне, что и на заднем крыльце что-то резали — утку или цыпленка.

На показание это упорно закрывали глаза, ибо оно нарушало стройность версии Панина и Закревского, согласно которой на заднем крыльце... резали горло Симон-Деманш.

Кроме того, медицинская контора, старавшаяся изо всех сил восполнить своими умозаключениями недостаточность «средств современной науки», пришла к довольно неожиданному и очень обрадовавшему Закревского выводу — а именно, что «Деманш могла быть зарезана только в стоячем положении». Вывод этот делался на том основании, что «кровавые пятна на белье и платье Деманш расположены сверху вниз».

В связи с этим следственная комиссия вновь вспомнила о поручике Скорнякове и его показаниях, что Деманш была зарезана во флигеле Кобылина. Его повторно вызвали на допрос, и он с еще большим рвением взялся рассказывать свою по-



весть, клятвенно подтверждая достоверность первоначального сюжета. Искать нарисованного им коллежского регистратора, «гонимого бурей жизни», никто конечно же не собирался, хотя были известны и чин, и полное имя «адского человека» — Алексей Петрович Сергеев. Никто не собирался также проверять сведения камердинера Макара Лукьянова, который, находясь вместе с Ефимом Егоровым под арестом в Серпуховской части, сообщил следствию, что поручик Скорняков явился к повару на свидание в тюрьму и «просил с Егорова 100 рублей серебром, чтобы взять на себя преступление, а также хотел взять и с Кобылина». Факты «ярких колеров» не нуждались в прозаических красках действительности.

Особая комиссия, ободренная новым поворотом дела, действовала с удвоенной силой, и уже через несколько месяцев после признания дворовых людей материалы, собранные следователями, позволили министру юстиции сделать в Сенате громовое заявление:

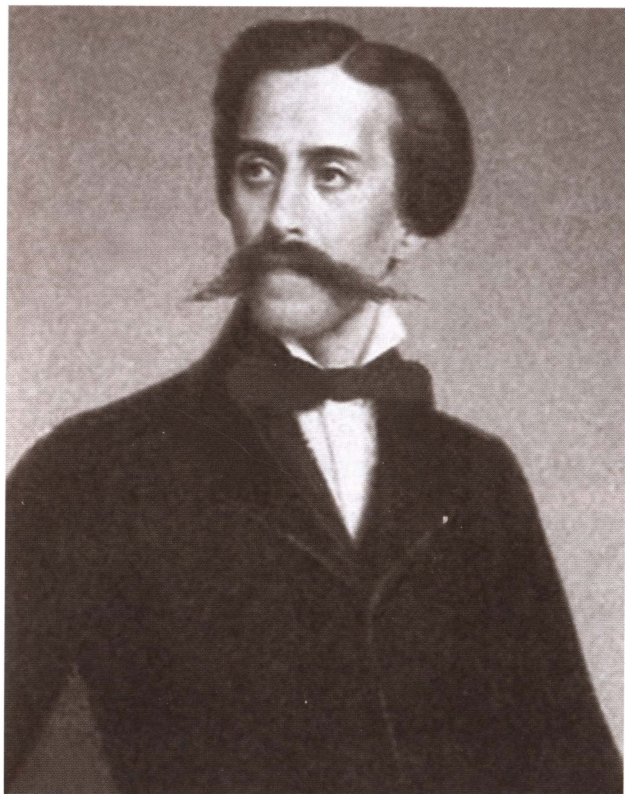
— Убийство Деманш, произведенное с жестокостью, не могло быть совершено без сильной к тому побудительной причины. Следствием не обнаружено, однако же, причины, по которой дворовые люди Сухово-Кобылина могли бы сами по себе посягнуть на столь тяжкое злодеяние.

Показания, подтверждающие такой вывод, грозивший Александру Васильевичу арестом и каторгой, давал, как ни странно, он сам. На допросе 18 марта, уже после того как в деле появились собственноручные признания дворовых, он настойчиво утверждал:

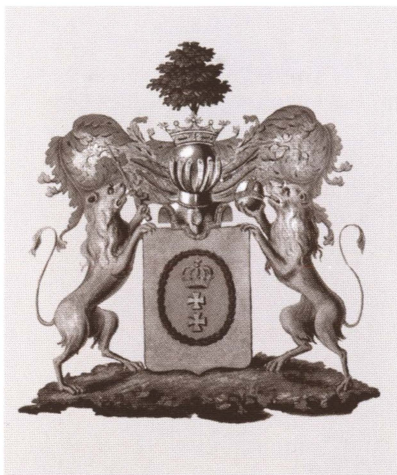
— Отношение Деманш к прислуге было в глазах моих до такой степени удовлетворительным, что

сам я, подвергнутый жестокому подозрению в убийстве, готов перед комиссией отдать и имущество, и жизнь, чтоб рассеять окруживший меня мрак неизвестности: и в самую минуту тяжкого для чести моей ареста не находил и сейчас решительно не нахожу причин подозревать людей сих в совершенном преступлении.

Да, но как же быть с показаниями дворовых об убийстве Луизы Ивановны из мести — за то, что беспрестанно их избивала? Как быть с многочисленными показаниями прислуги о «строптивном характере» француженки? И наконец, как быть с имеющимся в деле официальным документом — жалобой Настасьи Никифоровой на имя военного генерал-губернатора Москвы? Все эти факты как причину, «по которой дворовые люди могли бы сами по себе посягнуть», Панин легко перечеркивал, ссылаясь на какие-то мифические материалы дела в целом и показания Сухово-Кобылина от 18 марта в частности. При этом никому не приходило в голову сопоставить эти показания «с происшедшим событием» и усомниться «в достоверности оного». Что же касается самого Александра Васильевича, трудно сказать, осознавал ли он, что подставлял свою голову, когда с такой решительностью и убежденностью отвергал мотив убийства из мести и даже саму возможность убийства Деманш ее слугами. Это было то самое джентльменство, которое потому так и называется, что проявляется независимо от обстоятельств. Он не мог публично обвинить или же, что равносильно, молчаливо согласиться с публичным обвинением своей подруги в жестокости — даже мертвой подруги, которая уже ни в чем не могла упрекнуть своего «любезного Александра». Он не мог этого сделать еще и потому, что



Handwritten signature or scribble, possibly reading "P. J. - 1870" followed by a large, stylized flourish.



Герб  
дворянского рода  
Сухово-Кобылиных

Сухово-Кобылин  
с отцом Василием  
Александровичем  
в московском  
родовом доме



Мать драматурга  
Мария Ивановна



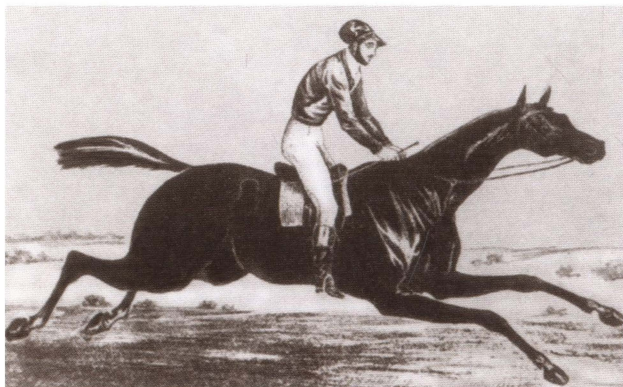
Сестры Елизавета,  
Софья и Евдокия.  
*П. Орлов. 1847 г.*





Московский дом Сухово-Кобылиных  
в Большом Козловском переулке

А. В. Сухово-Кобылин — лучший жокей России.  
*Акварель 1842 г.*





Предполагаемый портрет  
Луизы Симон-Деманш



Сухово-Кобылин времен  
его знакомства с Луизой.  
*Дагеротип 1850-х гг.*

Александр Васильевич с Луизой часто бывали  
в подмосковном родовом имении Воскресенское.  
*Современный вид господского дома*









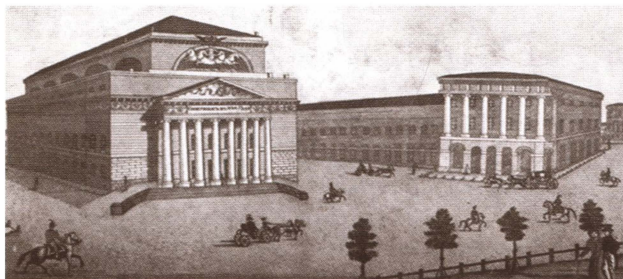
В церкви Воскресения на Успенском Вражке 11 декабря 1855 года состоялась процедура публичного покаяния Сухово-Кобылина за незаконное сожительство с Симон-Деманш

◀ Афиша премьерного спектакля «Свадьбы Кречинского» в Малом театре. 1855 г.



Сергей Шумский в роли Кречинского и Пров Садовский  
в роли Расплюева. 1855 г.

28 ноября 1855 года в Малом театре состоялась премьера  
«Свадьбы Кречинского». Гравюра Р. Курятникова.  
Первая половина XIX в.



Василий Самойлов  
в роли Кречинского  
в спектакле  
Александринского  
театра «Свадьба  
Кречинского». 1856 г.



Александринский театр  
в Петербурге.  
*А. Чернышев. 1851 г.*





В следствие по громкому делу об убийстве Луизы Симон-Деманш активно вмешивались высокопоставленные чиновники — министр юстиции Виктор Никитич Панин, московский военный генерал-губернатор Арсений Андреевич Закревский и московский обер-полицмейстер Иван Дмитриевич Лужин



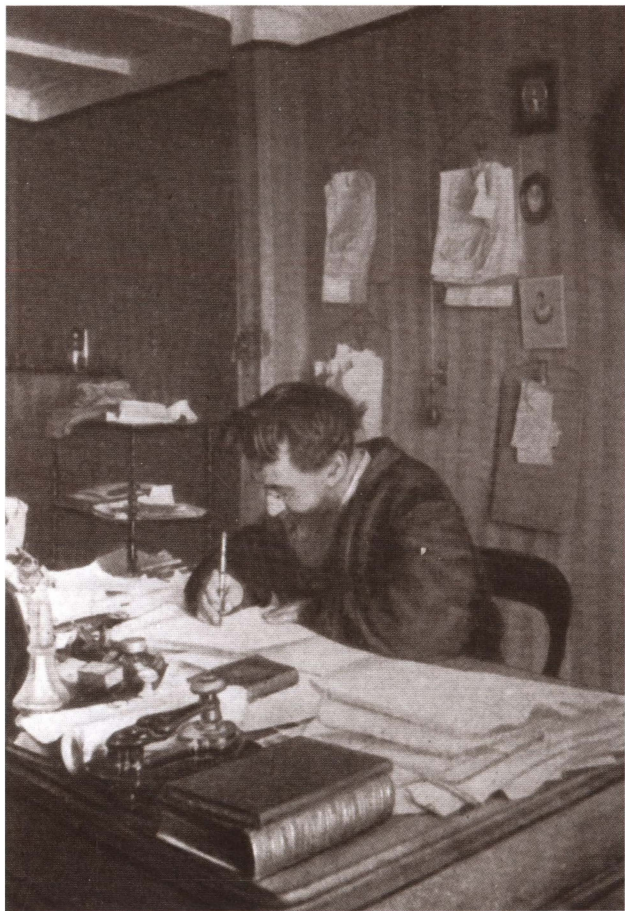
Следствие считало, что убийство француженки могло быть совершено в особняке Сухово-Кобылина на Страстном бульваре...

...или в квартире, снимаемой «московской купчихой Луизой Ивановной» в доме графа Гудовича в Брюсовом переулке





Елизавета Васильевна Сухова-Кобылина, в замужестве графиня Салиас де Турнемир — писательница и хозяйка литературного салона Евгения Тур. *Фото 1860-х гг.*



Драматург в своем рабочем кабинете в имении Кобылинка



Сухово-Кобылин на репетиции. 1900 г.





Надежда Ивановна  
Нарышкина. 1864 г.



Дочь Нарышкиной  
и Сухово-Кобылина  
Луиза, в замужестве  
маркиза де Фальтан

Мемориальная доска на кладбище Больё-сюр-Мер  
близ Ниццы установлена в 2009 году





Сухово-Кобылин в 83 года. 1900 г.

именно он научил Луизу «обращению» с крепостными, варварски избивая их на глазах у французской модистки.

— Деманш на меня раза два жаловалась Кобылину, — показывала Пелагея Алексеева, — за то, что будто бы я без приказания ее истратила сливки, тогда как она сама оные истратить велела. За что барин бил меня так, что я без памяти была.

Лютым помещиком он оставался до конца своих дней.

— К крестьянам относился жестоко, — вспоминали бывшие крепостные его тульской вотчины. — Шапку не снимет кто — изругает. За любую провинность — под суд.

— На господскую землю нам, мужикам, заходить было нельзя — засечет! Крутой был человек!

— Когда чем расстроен бывал — шляпу набок. А в хорошем настроении — шляпа как следует надета. Уж я заметила. Как шляпа набок — на глаза ему не попадаюсь.

Они были безответными и безропотными, тысячи его верноподданных душ. И рабски любили его. Мало говорили о нем плохого. Всё больше восхищались. Потому что:

— Трудовик был! Работал по столярному делу. С утра, бывало, с топором, где сучок обрубит, где что. На строительстве землю сам возил тачкой.

И потому что:

— Милостивый был, что попросишь, даст.

Он был для них легендой, этот богатый барин, «высшей марки аристократ», ходивший по лесам с топором за поясом и предававшийся аскетизму среди патриархальной роскоши родового имения.

— С детства я в кухарках, — рассказывала Наталья Ларионовна Богачкина. — В барском доме

стирала, работала, что укажут. Всё делала. Спаленка у него была шикарная, а рядом — верстак, на верстаке брусочки. На верстаке и спал. Никому об этом нельзя было говорить. Меня допускали убирать кабинет, потому что не болтливая была. Раз захожу в кабинет (а мне сказали, что самого дома нет, убирать можно), а он стоит во весь рост. Я обратнo: «Батюшки, он сам там!» А мне экономка: «Дурочка, это его портрет». И правда, портрет был во весь рост, как живой нарисован. Раз застал меня в кабинете, убирала, как закричит сердито (с привизгом говорил): «Чья такая?! Откуда ты?» — «Я Богачкина». — «А-а-а-а, Богачкина! Отец твой мой самый любимый кучер». И сразу добрым стал... Бедным он помогал. Леску, хлеба давал. А воров не любил. Если поймает — в тюрьму.

Видел, как дрожали они под его суровым взглядом. И гордился этим. И держал их в страхе, неустрашимый властитель, в иной час добрый, в иной час яростный, могучий барин, отец родной. Но однажды не смог он всё же скрыть своего страха перед ними, безответными и трепещущими, дрогнул сердцем, съежился, побледнел. Это было в день его именин, в праздник святого Александра Невского.

— В этот день, — вспоминал крестьянин Филипп Иванович Кузнецов, — приезжали, бывало, многие гости. Крестьян богато одарял орехами, конфетами. Резал быка, пек пироги. Собирались на праздник из всех деревень в округе. Развешивал в этот день фамильные вензеля, устраивал фейерверки, люминации. Все крестьяне собирались к дому, где устраивалось большое угощение, выкатывалась бочка вина, расставлялись столы с закусками... И вот однажды происходило такое праздничное гулянье. А в этот день как раз вернулись из солдат-

ской службы крестьяне Городецкий и Сачков. Они подняли барина на руки и начали качать. А он испугался, думал, что хотят его убить. С тех пор именины и не праздновал больше...

«Хотят его убить»... этот мучительный, безрасудный страх жил в нем подспудно с той самой поры, когда ему дали прочесть по-крестьянски спокойное и обстоятельное и оттого еще более впечатляющее повествование Ефима Егорова. Тогда на него, не знавшего страха ни перед чем, впервые дохнуло тем древним и хорошо знакомым его родовитым пращурам неистребимым ужасом перед вилами, топором и красным петухом. Крестьяне его замечали и говорили об этой «болезненной причуде» с каким-то горестным снисхождением, почти с обидой.

— Он даже воду сначала возил издалека, — рассказывал Филипп Семенович Маслов. — Потом взял из Плавицы, послал на анализ в Москву. Там сказали, что самая лучшая. Тогда он оцементировал источник недалеко от мельницы и воду стал брать только оттуда. Проверял всё очень. Боялся, что его отравят.

Особые мнения сенаторов, выводы министра юстиции и заключение медицинской конторы вновь возвращали делу утраченную было обоюдность. Оплошность частного пристава Стерлигова стараниями целой армии чиновников была исправлена.

Десятого мая 1851 года материалы следствия были представлены военному генерал-губернатору Москвы. Закревский дополнил дело материалами секретного следствия и препроводил его в губерн-

ское правление, «а сие последнее отослало оное к рассмотрению и решению в 1-й департамент Московского надворного суда». Четыре месяца шли заседания. Две статьи Свода законов — 1150-я и 1181-я — качали дело из стороны в сторону. Вокруг каждой из них составила партия, сенаторы и прокуроры азартно спорили, чаши весов божественной Фемиды качались беспрестанно:

- Признать показания дворовых за истину!
- Не признавать!
- Привлечь Сухово-Кобылина!
- Не привлекать!

Сражение двух группировок продолжалось с переменным успехом, пока из темного водоворота речей не всплыла на поверхность одна меленькая, но яркая щепка — факт, отмеченный вскользь, одной строчкой в непомерно разросшемся деле:

«28 марта сего 1851 года по указанию Егорова найдены на чердаке барского дома цепь, две булавки, брошь и портмоне».

Больше ничего — никаких комментариев, выводов, заключений, соображений и мнений. Авось проскользнет.

Но не проскользнуло. Это были те самые вещи Симон-Деманш, которые она постоянно носила с собой и на пропажу которых указывал Сухово-Кобылин в записке министру юстиции. Строка, затесавшаяся в обширные материалы дела по недосмотру (или по бестолковости) какого-то следственных дел стряпчего, перевесила сотни густо исписанных листов многотомного дела, тщательно заостренного с той стороны, которая должна была обрушиться на гордую голову Сухово-Кобылина.

Тринадцатого сентября 1851 года последовало решение надворного суда:

«Егорова и Козмина приговорить к 80 ударам шомполами и по наложению клейм отправить в каторжные работы на рудники: Егорова на 20, Козмина на 15 лет. Кашкину на 22 года и шесть месяцев, Алексееву на 15 лет. Титулярного советника Сухово-Кобылина, виновным по делу сему ни в чем не оказавшегося, к суду не привлекать».

На этом в деле об убийстве московской купчихи Луизы Ивановны Симон-Деманш могла быть поставлена точка. Но граф Арсений Андреевич Закревский был не из тех игроков, которые с достоинством покидают ломберный стол, проиграв крупную партию. Он предпочитал широким и властным жестом смести со стола неудачную фишку, проворно стереть рукавом долговые записи и метать банк заново. Решение надворного суда военный генерал-губернатор Москвы нашел неправильным и отменил его. Дело было направлено в Московскую уголовную палату, а оттуда снова в Правительствующий сенат.

Получив из Московской уголовной палаты материалы следствия и судебных процедур, Сенат тут же поспешил от них избавиться, ибо дело приобрело такую сложность, что блистать красноречием, разбирая его, было уже недосуг. Долго не раздумывая, сенаторы вернули его в уголовную палату на том основании, что та не дала точного ответа на их запрос, привлекать ли Сухово-Кобылина к суду.

Московская уголовная палата, получив дело назад, созвала всех своих членов на экстренное заседание. На нем присутствовал Закревский. Дебаты шли до позднего вечера, и разногласиям о причастности Сухово-Кобылина к убийству не было конца. И тогда Арсений Андреевич, уже изрядно утомленный, поднялся и потребовал от господ заседателей

«благосклонного внимания». Палата затихла. И Арсений Андреевич, расчлняя длинными паузами свои короткие фразы, произнес речь. Он напомнил господам заседателям, что Правительствующий сенат вовсе не ставит вопрос, виновен или невиновен Сухово-Кобылин в совершении убийства. Этот вопрос будет решаться не теперь и не здесь. Этот вопрос будет решаться Сенатом, а может быть, даже государем. Палате же должно дать ответ Сенату — привлекать или не привлекать Кобылина к суду по делу об убийстве Деманш. Ответа на *этот* вопрос ждет от вас Сенат, господа заседатели уголовной палаты.

После речи Закревского был объявлен перерыв. А после перерыва заседатель от дворянства господин Чистяков заявил о своем желании говорить. Его попросили на трибуну. И он высказал мнение:

— Все люди, жившие как у Симон-Деманш, так и у Сухово-Кобылина, единогласно подтверждают о любовной его с нею связи, что подтвердили также и знакомые его — господин Сушков и Эрнестина Ландрет, а посему я полагаю: признать Сухово-Кобылина виновным в противузаконном сожитии с Симон-Деманш и на основании статьи 1289-й привлечь его к суду, с тем чтобы подвергнуть его церковному покаянию законным образом и по распоряжению местного епархиального начальства.

Закревскому понравилось это мнение. В данном случае ему было неважно, как и на каком основании привлечь Сухово-Кобылина к суду. Главное — дать удовлетворительный ответ Сенату, на который его власть не распространялась, и сделать это за счет Московской уголовной палаты, которая была всецело подвластна ему. Протолкнуть же дело в Сенат Закревскому было крайне необходимо, ибо по-



сле отмены решения надворного суда обвинить Сухово-Кобылина в убийстве и сослать его на каторгу могли только две вышестоящие инстанции — Правительствующий сенат и Государственный совет.

Мнение Чистякова поддержал другой заседатель от дворянства — господин Серебряков, к нему присоединились советник председателя уголовной палаты Сухонин и исправляющий должность товарища (то есть заместителя) председателя Равинский. На основании чистяковского мнения было составлено решение, которое «губернский прокурор пропустил без протеста» и на котором военный генерал-губернатор Москвы поставил резолюцию:

«Одобрить решение Московской уголовной палаты и препроводить дело в Правительствующий сенат».

И дело препроводили.

И оно, окутанное плотным туманом противоречивых мнений, решений и резолюций, стало еще более темным, запутанным и непонятным.

— ...А тут еще как бы игральщиком судьбы является и факт собственного сознания. <...>

— Темнота... Среди темноты ночь, среди ночи обоюдоострость...

*«Дело», действие второе, явление VI*

Да, дело Кобылина действительно было игральщиком судьбы — но и коварных игроков. Ход игры переменился быстро и неожиданно.

Тринадцатого ноября 1851 года, через несколько дней после того, как дело с резолюцией Закревского поступило в Сенат, дворовые люди Сухово-Кобылина, год назад сознавшие в преступлении, один за другим отреклись от своих показаний.

В течение года они несколько раз подтверждали свои признания в убийстве Деманш в различных официальных инстанциях высокого ранга: в Московском надворном суде, в Московской уголовной палате, в городской полицейской части. При этом они каждый раз добавляли, что во время следствия по отношению к ним «пристрастия и истязаний не было». Впрочем, это была обычная в таких случаях формула, которой можно было не придавать (при необходимости) никакого значения, но можно было, напротив, придать (при необходимости) решающее значение.

«Рукоприкладство» подсудимых (так назывался собственноручно подписанный документ — в данном случае кассационная жалоба) тут же поступило в Сенат и было зачитано на специальном заседании.

«Вследствие бесчеловечных истязаний частного пристава Стерлигова, — повествовал Ефим Егоров, — я дал вынужденное показание, что преступление совершено мною. Серпуховской частный пристав Стерлигов допрашивал меня самым варварским и бесчеловечным образом; истязания, которые совершались надо мною, были следующие: крутили мне самой тоненькой бечевкой руки столь крепко назад, что локти заходили один на другой, и таким образом я оставался связанным от двух часов пополудни до первого часа пополуночи. Связанного таким образом вешали на вбитый в стене крюк, так, что я оставался на весу по несколько часов. Не давали мне пить целые сутки, кормя меня одной селедкой, и вдобавок, когда я находился связанным в висячем положении, г. Стерлигов собственноручно наносил мне чубучем сильные удары по ногам, по рукам и голове. Сознывая свою невиновность, я,

сколько в силах был, переносил с терпением муки; но когда совершенно ослабел, то решился принять на себя то ужасное преступление, дабы избавиться от бесчеловеческих истязаний, в чем и дал показание г. Стерлигову. Для того чтобы склонить меня к скорейшему сознанию при таких ужасных муках, г. пристав мне показал собственноручное письмо моего господина, в котором он просил меня сознаться, приняв всё на себя, за что обещано мне было награждение 1500 рублей серебром, свобода моим родственникам и ходатайство об облегчении моей участи. Вот почему произошло это вынужденное признание при всей моей невинности.

Не имея более ничего прибавить к своему оправданию, я умоляю высокоименитых судей обратить свое милостивое внимание на все изложенные в сем рукоприкладстве доводы и облегчить сколь можно мои страдания в присуждении наказания за преступление, тайна коего известна одному Всевышнему Творцу, от которого не скрыто, что я жертва случая».

В «рукоприкладстве» Козмина об истязаниях не было речи, но говорилось следующее:

«1850 года ноября 15 был я обольщен господином частным приставом Хотинским, который мне показывал собственноручное письмо господина моего, Сухово-Кобылина; в одном письме он писал, чтобы я принял на себя участие в убийстве Деманш, за что обещал мне вечную свободу и отпускную со всем моим семейством, сверх того денег 1050 рублей ассигнациями, и притом писал мне, что скоро будет манифест».

В конце «рукоприкладства» с точностью до последнего слова повторялось обращение Егорова: «Не имея более ничего... жертва случая».

Аграфена Кашкина в своем «рукоприкладстве» настаивала, что она не видела Симон-Деманш после того, как та ушла из дома в десятом часу вечера. «Что же показано было мною при следствии, что она убита Егоровым и Козминым в спальне, — сообщила горничная, — то я сознаюсь как перед Богом, велел мне так говорить барин Александр Васильевич. 8 числа ноября того года, придя к нам утром, он обещал награду и защиту». И следом та же формула: «Не имея более ничего... жертва случая». Идентичной формулой заканчивалось «рукоприкладство» Пелагеи Алексеевой, которую барин, обещая ей награду, «научил, как показывать следствию».

В конце ноября по предписанию Сената был арестован в Москве частный пристав Стерлигов. На 18 декабря 1852 года было назначено слушание дела в Петербурге, в первом отделении шестого департамента Правительствующего сената. Арест Сухово-Кобылина было решено отложить до окончательного решения дела на этом заседании.

---

---

## ГЛАВА ПЯТАЯ

*Доброта может иметь место в личных пожертвованиях, но не в действиях власти, принадлежащей месту, а не лицу.*

«Записки» сенатора  
К. Н. Лебедева

В ноябре 1852 года Александр Васильевич, нарушив условия подписки, выехал из Москвы в Петербург. Он ехал на встречу с обер-прокурором Кастором Никифоровичем Лебедевым, в руках которого теперь находилось его дело — его судьба, свобода и честь. Он уже кое-что разузнал о Лебедеве. Он узнал, что именно он, Лебедев, красноречивейший из прокуроров, человек весьма представительный, с великолепно расчесанными бакенбардами и хорошо поставленным голосом, готовит заключение для Сената и что всё зависит от того, какое направление он даст делу в этом своем заключении на заседании 18 декабря. Узнал он также и то, что к Кастору Никифоровичу «с пустыми руками не ездят». И потому, отправляясь в дорогу, он запасся билетом Опекунского совета в десять тысяч рублей серебром — билетом, которому суждено было расстроить органы пищеварения обер-прокурора...

Кастор Никифорович не удивился, когда доверенные лица сообщили ему, что отставной титулярный советник Сухово-Кобылин ищет с ним встречи

тет-а-тет. Он ждал этой встречи весь год, с того самого дня, когда в Сенат поступили «рукоприкладства» дворовых, содержащие не только отречение подсудимых, но и прямое указание на то, что Сухово-Кобылин подкупом принудил их сознаться в убийстве Деманш. И хотя писем, о которых говорилось в «рукоприкладствах» Егорова и Козмина, следствием не было найдено, а частные приставы Стерлигов и Хотинский на допросах упорно отрицали свое участие в подкупе, показания четырех свидетелей в совокупности с другими материалами следствия давали обер-прокурору возможность делать самые смелые заключения относительно причастности Сухово-Кобылина к убийству его любовницы. Догадывался Кастор Никифорович и о том, что титулярный советник явится к нему не с надеждами на доброту власти, но с добротой в собственном сердце, эффективность воздействия которой на суровую государственную десницу будет определяться суммой «личного пожертвования» в пользу обер-прокурорского места, занимаемого им, Кастором Никифоровичем.

За несколько дней до встречи, назначенной в его кабинете, Кастор Никифорович уединился и, обложившись увесистыми томами Свода законов, не доверяя сенатским писарям, собственноручно составил «Записку по делу об убийстве купчихи Симон-Деманш». Это был особенный, предназначенный исключительно для личного пользования вариант его резолюции. Кастор Никифорович был опытным и прозорливым чиновником, и о крутом характере Сухово-Кобылина он был наслышан.

— Азартный человек — опасен. Если взять, а дела ему не сделать — он, пожалуй, скандал сделает.

*«Дело», действие третье, явление XIII*

Перед тем как получить от Сухово-Кобылина взятку, он заготовил этот безупречный с юридической точки зрения документ, блестяще разрешающий многие запутанные вопросы дела в пользу Александра Васильевича. Но заготовил бумагу Кас-тор Никифорович для отвода глаз, на всякий случай — для того, чтобы при необходимости показать Александру Васильевичу, как будет выглядеть его выступление в Сенате, если доброта титулярного советника будет простираться до тех горизонтов, где сверкают, словно зарницы, вожделенные нолики пятизначной цифры: «Да, слышите, не на ассигнации, а на серебро».

В своей «Записке» обер-прокурор убедительно опровергал не только выводы медицинской конторы, которая не учла или не захотела учесть одно обстоятельство: при перерезывании сонной артерии в *живом* теле действительно происходит «обильное и стремительное кровотечение», но горло Деманш, в соответствии с показаниями Егорова и Козмина, было перерезано уже после того, как она была убита в спальне, и после того, как ее труп в морозную ночь был вывезен в поле; следовательно, к тому моменту тело Деманш уже несколько часов было *мертвым*, подчеркивал обер-прокурор, да к тому же еще окоченевшим на морозе; никакого обильного кровотечения в таком случае быть не могло, и это было хорошо известно любому медику того времени. Бил обер-прокурор и самый главный козырь.

«Что же касается до отречения преступников: Егорова, Козмина и Кашкиной от прежних их показаний, — писал он, — то, по точному смыслу 15 пункта 1207 статьи XV тома Свода законов, оные должно считать еще более сильнейшими уликами преступления, а не поводом к новому переследова-

нию всего дела. Удивительнейшими к тому фактами служат самые извороты подсудимых Егорова и Козмина, коими они наполнили рукоприкладство в Сенат. Можно ли допустить, чтобы они под влиянием того пристрастия, которое будто бы испытали от следственных приставов, продолжали постоянно сознаваться в убийстве Деманш, выйдя из зависимости этих приставов, и не объявили о том в надворном суде и уголовной палате».

Каким-то чудом документ этот уцелел в бумагах обер-прокурора. То ли Кастор Никифорович не решился съест его, брезгуя сенатскими чернилами, то ли оставил на память — в качестве свидетельства своего юридического таланта, в котором ему нельзя отказать. Попади этот документ в дело, оно, наверное, было бы благополучно закрыто в той своей части, которая ставила под угрозу свободу Александра Васильевича. Но в дело он не попал. Записка эта, навеянная обер-прокурору несбывшимися мечтами о собственных деревеньках, хранится теперь в Москве в фондах Бахрушинского музея рядом с материалами следствия по делу об убийстве Деманш.

Литературного двойника Кастора Никифоровича — Максима Кузьмича Варравина, «правителя дел какого ни есть ведомства» и «действительного статского советника при звезде» — Сухово-Кобылин наделил талантами, куда более яркими по части взимания «личных пожертвований». Воплощая в пьесе «Дело» ту незабываемую сцену в прокурорском кабинете, когда Кастор Никифорович так бездарно и бесполезно вложил солидный капитал в собственный желудок, Александр Васильевич придал этой, в сущности, комической сцене трагическую окраску, сделав ее стержнем пьесы. Действительный статский советник Варравин оказался



значительно удачливее статского советника Лебедева, ибо свой хорошо продуманный, изощренный грабеж сумел довести до победного конца. Помещик Муромский «за обещание дать делу положительный ход» оставил на столе у Варравина пакет с деньгами — 30 тысяч, как и договорились. Раскланиваясь с просителем в дверях своего кабинета, Варравин заверяет, что рассмотрит дело «с полным вниманием». Муромский уходит, окрыленный надеждой. Но вдруг его догоняет курьер Парамонов и просит вернуться назад к Варравину. Дальнейшие события, спрессованные в седьмом явлении пятого действия, развиваются стремительно и неожиданно, так что ни экзекутор Живец, ни помощник Варравина Кандид Кастанович Тарелкин, организовавший дачу взятки, не могут поначалу понять, что происходит.

МУРОМСКИЙ (*Парамонову*). Ты... тово... ошибаешься, друг... это не меня.

ПАРАМОНОВ (*тесня собою Муромского*). Их превосходительство изволят требовать!..

МУРОМСКИЙ (*мягко*). Да не меня, братец, не меня...

ПАРАМОНОВ. Пожалуйте; пожалуйста, — их превосходительство...

МУРОМСКИЙ. Да ты ошибся, братец...

ВАРРАВИН (*перебивая Муромского*). Позвольте! — Я вас требую.

МУРОМСКИЙ (*с изумлением*). Меня?!

ВАРРАВИН. Да — вас! Вы оставили у меня в кабинете вот этот пакет с деньгами (*показывает пакет*), — так ли-с?

МУРОМСКИЙ (*вздвогнувши*). Я?.. Нет... Ах, как нет!.. Оставил... то есть — может быть... позвольте... я не знаю... что же вам нужно?..

ВАРРАВИН. Мне нужно заявить ваш поступок вот — при свидетелях.

МУРОМСКИЙ. Так что же это? (*Осматривается.*) Западня?!

ВАРРАВИН. Вы меня хотели купить, так ли-с?

МУРОМСКИЙ (*совершенно смешавшись*). Да позвольте; тут, стало, недоумение какое... извините... простите меня! Ведь это вот они сказали (*указывает на Тарелкина*).

ТАРЕЛКИН (*также смешавшись*). Что вы? Что вы?.. Ваше превосходительство! Я вот вам Христом распятым клянусь — ни-ни; никогда! Я их и в глаза не видал...

ВАРРАВИН (*не обращая внимания на Тарелкина*). Так знайте, что я денег не беру! Вы меня не купите! Вот они деньги! (*Кидает ему пакет на пол.*) Возьмите их! И убирайтесь вон с вашим пасквильным делом!..

МУРОМСКИЙ. Не о пасквильном деле я прошу... (*наступая на Тарелкина*). Что это? — а? Да как же вы могли...

ТАРЕЛКИН (*потерявшись*). Помилуйте! Что вы меня путаете! Ваше превосходительство! Что же они меня путают?!

ВАРРАВИН (*перебивая его*). Угодно вам взять эти деньги, или я прикажу вот экзекутору.

*Живец порывается к деньгам; Варравин его держит за руку; Муромский поднимает пакет.*

Я вас могу представить всей строгости законов — и только ваши лета — извольте идти! (*Указывает на дверь.*)

МУРОМСКИЙ (*ощупывает пакет, выбегает на авансцену*). Что это? А? Где же деньги?.. (*Развертывает пакет и быстро смотрит деньги.*)

*Варравин стоит с правой стороны, Тарелкин с левой, Живец позади Муромского, все смотрят на него с напряженным вниманием.*

ВАРРАВИН. Извольте идти, или я прикажу вас вывести.

ЖИВЕЦ, ТАРЕЛКИН (*переглянувшись и вместе*). А-а-а! — вот оно!

МУРОМСКИЙ (*забывшись, с силою*). Так где же деньги, я говорю?! Их тут нет! (*Щупает пакет.*) Нет... Нет!.. Их взяли!!! Помогите!! Добрые люди!.. Помогите!! (*Обращаясь к Тарелкину.*) Помог... (*Останавливается, обращаясь к Живцу.*) Помогит... а-а-а-а-а! (*Ударив себя по голове.*) Капкан!!!

*Они обступают его ближе.*

ВАРРАВИН. Идите вон, я вам говорю! Я имею власть...

МУРОМСКИЙ (*взявши себя за голову и совершенно забывшись*). Разбой... Муромские леса!.. Разбой...

ВАРРАВИН (*голос его дрожит*). Опомнитесь — что вы? Опомнитесь...

МУРОМСКИЙ. Что это?.. а?.. (*Приходя в себя.*) Здесь... здесь... грабят! (*Поднимая голову.*) Я вслух говорю — грабят!

*«Дело», действие пятое, явление VII*

— «Дело» есть плоть и кровь мои. Я написал его желчью, — говорил Александр Васильевич корреспонденту «Нового времени» Юрию Беляеву. Это было в 1895 году, когда драматургу было уже 78 лет. Беляев приехал к нему в Кобылинку брать интервью. Хозяин повел литератора гулять в свою березовую рощу. «Мой спутник, статный красивый старик, — писал журналист, — в костюме, изобличающем европейца — и даже щеголеватого европейца, но в старомодном сером цилиндре, быстро идет впереди и подсмеивается над моей усталостью». Они остановились передохнуть в лесной сторожке, в полуразрушенном шалаше, где «пахло яблоками и медом». И Александр Васильевич всё повторял:

— «Дело» — моя месть. Мечь есть такое же священное чувство, как любовь. Я отомстил своим врагам! Я ненавижу чиновников... у меня хроническое отвращение к чиновникам.

Чиновников он называл не иначе как «челядь»; и с удовольствием повторял это словечко.

«Я так всегда рад и доволен, что эту челядь наказал кнутом, — писал он в дневнике, — только, моему, мало. Надо было больше. Это Бог меня вдохновил пробрать эту челядь».

Ненависть его к чиновникам была такова, что, замкнувшись у себя в Кобылинке, он ни на шаг не подпускал их к своим владениям. И эта его ненависть порой граничила с мрачным безумием. Затаившись в своей усадьбе, он, на манер охотника, подкарауливал проезжавших мимо чиновников и травил их, как зайцев, спускал на них гончих собак... А потом, насладившись сценой поспешного бегства, проводив насмешливым взглядом чиновничью коляску, исчезающую за горизонтом, он возвращался в свой кабинет и, склонившись с пером над бумагой, «изрыгал проклятия» на чиновничью Россию:

«Сама она, Россия, по себе взятая, бестолкова, ленива, бедна, пьяна, тунеядна, в год полгода празднично шатается, чиновничьим наитием она создана, административными предписаниями обвязана и увязана».

«Вам известно, что я относительно России пессимист, — писал он в 1894 году своему другу Василию Кривенко. — Я ее люблю, жалею (природа хороша и богата, и она привязывает), но хую. Мне она всегда была мачехой, но я был ей хорошим трудовым сыном... Бог Всемирной Истории не милует; и излюбленная российская “теорийка” “Подания Милостей” во Всемирной Истории человечества места не имеет. В этом *социальном* или человеческом, рациональном Прогрессе царит Истина, то есть *абсолютная Справедливость*; и Суд Истории

есть существенно справедливый Суд без Лицеприятия и, следовательно, без Милости. Модное, сентиментальное сочетание Суда правого с судом милостивым есть Бред и Иллогизм. Иллогизм в жизни фатален... Разум есть Сила, и Сила есть Разум, и лишь Разумное сильно — а не Разумное слабо, а потому всякое Рациональное устаивает, растет и бесконечно крепнет, а Иррациональное малится, слабеет и исчезает: нам современная чиновничья Россия иррациональна, а потому, надо полагать, не устоит и скоротечно прейдет».

Он верил, что чиновничья Россия «прейдет», но верил не с тем революционно-демократическим пафосом, какой пытались ему приписать — например, приват-доцент Киевского университета Чаговец, которой, читая в 1907 году лекции о драматургии, поставил Сухово-Кобылина в один ряд с Герценом, Добролюбовым, Чернышевским (самого Сухово-Кобылина, доживи он до этих дней, вероятно, оскорбило бы такое сопоставление). Революционно-демократического пафоса у него не было и не могло быть, потому что он верил, что «прейдет» именно *чиновничья* Россия, которую он «хулил» и которую отделял от России дворянской и самодержавной. В эту Россию он верил как в «беспримерное Чудо» и был убежден, что только с родовой аристократией и царем возможен ее «социальный или человеческий» прогресс. Впрочем, называя российский социальный уклад «чудом», он никогда не тешил себя иллюзией, что «чудо» это беспредельно и всемогуще. Способность видеть и прозревать была присуща его натуре, сполна наделенной чувством судьбы, и не только своей, личной судьбы.

«Исчезло крепостное состояние, — писал он, — исчезло и Дворянство; исчезнет Самодержавие —

исчезнет и Россия. Она исчезнет по своей бедности, бессилию, дряблости и низкой нравственности; она исчезнет тихо, без боли, борьбы и агонии, исчезнет, как исчезает всякое, что не есть Организм, а механический агрегат, — как исчезает куча песка и тает ком снега... и так далее, и так далее».

Что касается «боли, борьбы и агонии», то он конечно же ошибался (или хотел ошибаться). «Боль, борьба и агония» были и на его веку. Но тогда, в конце XIX столетия, когда исчезновение дворянства стало для него очевидностью, он пытался убедить себя, что это еще не крах, не конец, а зыбкое начало, перерождение неистребимого духа, как учили его книги Гегеля, которого он боготворил.

«Мы, помещики, старая оболочка духа, — писал он в 1892 году, — та оболочка, которую он, дух, ныне, по словам Гегеля, с себя скидывает и в новую облекается. Где и как? Этого Гегель не сказал и предоставил решить истории человечества. Это ее секрет. Во всяком случае верно то, что облечется он ни на Волге, ни на Дону, ниже на берегах моей Плавиды. Смутно, странно и страшно всё это здесь у нас смотрит; и я ежечасно вспоминаю Новгородскую республику под командою бабы Марфы, где большинство спускало меньшинство в Волхов; словом, тот славянский политический уряд, который ныне в каком-то свином углу практикует раб и болгарин Стамбулов\*».

И вот когда ему становилось «смутно и страшно», когда даже «непогрешимый» Гегель вдруг начинал (как ему временами все-таки казалось!) «врать и фальшивить», когда он чувствовал, что те-

---

\* *Стефан Стамбулов* (1854—1895) — глава болгарского правительства в 1887—1894 годах.

ряет всякую веру — и в Россию, и в дворянство, и в самодержавие, тогда, чтобы спасти эту веру, он прибегал к надежной безукоризненности математических законов.

«Конечно, — рассуждал он, — надо согласиться, что Самодержавие Иррационально, но приданное к Иррациональности русского Племена даст в этом синтез — Рациональность, по той же причине, по которой минус на минус дает плюс...»

Восемнадцатого декабря 1853 года зал заседаний шестого департамента Правительствующего сената был переполнен. Председательский колокольчик звенел беспрестанно. Писари, фиксировавшие каждую реплику, едва успевали макать в чернильницы свои проворные перья. В самый разгар заседания по сигналу министра юстиции в зал ввели под конвоем частного пристава Стерлигова. Обер-прокурор, поднявшись с места, громко и с подчеркнутым беспристрастием в голосе зачитал уже известное всем «рукоприкладство» Егорова. После внушительной паузы, которая должна была вместить в себя глубокие и печальные раздумья Сената, Стерлигову были заданы вопросы «об истязаниях, учиненных арестанту Егорову». Пристав, несмотря на зловещую торжественность обстановки, держался уверенно, отвечал спокойно и рассудительно.

— Можно ли поверить, — говорил он, — чтобы человек, пробыв одиннадцать часов со скрученными руками, мог впоследствии действовать ими свободно, не чувствуя сильной боли и не требуя медицинского пособия, и даже свободно писать, надевать сюртук? Не благоугодно ли будет к тому же обратиться милостивое внимание на то, почему не прино-

сил на меня жалобу Егоров в то же время господину обер-полицмейстеру, а впоследствии в судах уголовных. Я могу поклясться перед вами, как перед Богом, высокочтимые господа сенаторы, что меры, употребленные мною, были кроткие убеждения сказать истину и тем оправдать невинных, убеждения святостью и великостью дней, в которые производил я дознание, убеждения в облегчении наказания как добровольно сознавшемуся преступнику — вот что руководило моими действиями в открытии этого важного преступления.

Кротки ли были «меры», употребленные частным приставом, или нет, Александр Васильевич изобразил их в «Смерти Тарелкина» в том виде, в каком они предстали в «рукоприкладстве» Егорова, а не в ответах Стерлигова. Нет, не потому, что он не верил Стерлигову — конкретному частному приставу, а потому, что волей судьбы узнал нравы других, бесчисленных трудяг-стерлиговых, вовсе не чуждых той «механике допроса», которую продемонстрировал его Расплюев, расследуя фантазматическое дело об оборотничестве, и потому, что нельзя было не понять, что те, кто диктовал Егорову его «рукоприкладство», должны были изобразить для правдоподобности именно такие истязания, какие широко применяются в полицейских участках по всей России.

«Кобылин имел смелость вывести на сцену, — писал известный литератор рубежа XIX—XX столетий Александр Амфитеатров, — весь следственный арсенал дореформенного застенка квартала: пытка полотенцем, пытка бойлом городских, пытка темною, пытка жаждою».

Да, было от чего прийти в ярость министру внутренних дел Петру Александровичу Валуеву. Про-



читав первую редакцию «Смерти Тарелкина», он «ужаснулся и содрогнулся» и самолично наложил на пьесу запрет, написав на полях: «Сплошная революция».

На заседании 18 декабря, несмотря на все старания сенаторов, единогласия достигнуто не было. Заседание продлилось до позднего вечера и было перенесено на 22-е. Но и в этот день, как явствует из протоколов, «между гг. сенаторами произошло разногласие». Мнения всё больше и больше раскачивали дело:

— Кобылина от суда освободить.

— Признать Кобылина виновным в незаконном сожитии с Деманш.

— Признать Кобылина виновным в соучастии в убийстве.

— Не разрешая дела в существе, возратить оное для доследования.

Объявил свое мнение на этом заседании и Кас-тор Никифорович Лебедев.

— Не подлежит сомнению, — говорил он, — что убийство совершено рассчитанно, из видов и хладнокровно. Дело это поставлено Шлыковым в самое затруднительное положение. Вопрос идет о том, назначать ли новое следствие или решить дело по показанию людей. Я не ожидаю ничего от нового следствия. Есть неясность и невероятность в показаниях сознавшихся убийц, не совсем достоверно само следствие, но прикосновенность лиц высшего круга, по моему мнению, несомнительна.

Обер-прокурор упорно настаивал на том, чтобы были проведены очные ставки Сухово-Кобылина с его дворовыми людьми. И Сенат принял такое решение. Александру Васильевичу было предписано явиться на допрос, но он ответил резким отказом.

«Комиссия признала нужным вытребовать меня к заседанию и дать мне очные ставки с открытыми по делу сему преступниками, — писал он в объяснительной записке. — Приняв во внимание 1138 статью, в коей сказано, что “очные ставки господам с их слугами даются в том только случае, если они оказываются участниками в одном и том же преступлении”, я нахожу, что ставки, которые Комиссия намерена дать мне с людьми моими, будут или прямо противны смыслу закона, или для лица моего оскорбительны, ибо Комиссия не иначе имеет право дать мне очные ставки, как разумея меня участником в преступлении людей моих».

На очные ставки он не явился. Дело ввиду разногласий было перенесено в Общее собрание московских и петербургских департаментов Сената.

Потом в суд пошло, потом дальше. Дело накопилось вот, говорят, какое: из присутствия в при-  
сутствие на ломовом возят.

*«Дело», действие первое, явление I*

Двадцать шестого июня 1853 года состоялось заседание в Общем собрании департаментов. Но и здесь сенаторы взялись спорить пуше прежнего:

- Оставить Кобылина в подозрении!
- Освободить от суда!
- Признать участником преступления!
- Присудить церковное покаяние за незаконную любовную связь!
- Оставить в подозрении по поводу оной связи!
- Привлечь за неявку на очные ставки!
- Не привлекать!

По разногласию в Общем собрании дело пре-  
проводили в Министерство юстиции, откуда и была прислана обстоятельная резолюция, составлен-

ная обер-прокурором Лебедевым и подписанная министром юстиции Паниным.

Второго октября резолюция была зачитана в Сенате. В ней говорилось:

«1. Убийство Симон-Деманш совершено не в ее квартире и не на месте, где найдено тело.

2. В настоящем деле, при явной неполноте и очевидных недостатках следствия, признание крепостных Сухово-Кобылина не удовлетворяет требованию закона, а при разночтении на каждом шагу представляется весьма сомнительным и даже неправдоподобным. А посему сознания Егорова, Кашкиной, Козмина и Алексеевой об убийстве Симон-Деманш не могут служить основанием к осуждению их как убийц ея.

3. Многие обстоятельства дела навлекают на Сухово-Кобылина, несмотря на его упорное заpiresательство, подозрение если не в самом убийстве, то в принятии в оном более или менее непосредственного участия, а также подозрение в подговоре людей своих принять убийство на себя».

Далее следовали подробное перечисление уже известных обстоятельств, «навлекающих подозрение», и предписание:

«А посему нахожу необходимым:

1. Подвергнуть дело сие строгому переследованию по всем обстоятельствам оногo, через благонадежных и опытных чиновников, которым вменить в обязанность, чтобы употребили все законные средства к обнаружению истинной причины к убийству Симон-Деманш.

2. По окончанию следствия передать всё дело в суд 1-й степени для рассмотрения постановления вновь на законном основании, не стесняясь прежними решениями».

Одни пошли на выпуск: оправдать и от суда освободить. Вторые — оставить относительно любовной связи в подозрении. Третьи — обратить дело к преследованию и постановлению новых решений, не стесняясь прежними.

*«Дело», действие второе, явление VIII*

С резолюцией министра юстиции не согласились три сенатора — Нечаев, Отрошенко и Крута. Они выразили особое мнение, суть которого сводилась к тому, что дело нужно закрыть на основании признания дворовых людей. Без этих трех голосов Сенат не мог утвердить резолюцию, и «дело сие по несогласию гг. сенаторов с предложением г. министра юстиции было представлено в Государственный совет в департамент гражданских и духовных дел».

В ноябре 1853 года в Государственном совете дело было рассмотрено, а в декабре последовало решение:

«1. Утвердить по сему делу заключение министра юстиции и сенаторов, с ним согласных.

2. Создать Особую Чрезвычайную комиссию для преследования всего дела».

«Его Императорское Величество 11 января 1854 года решение сие высочайше утвердить изволили», — говорилось в деле.

Через полтора месяца комиссия была сформирована и, поскольку резолюцию о ее создании украшала надпись «*И Я Николай I*», комиссия стала именоваться «Особой Чрезвычайной и Высочайше Утвержденной». Возглавил ее чиновник Министерства юстиции генерал-майор Ливенцов.

Заручившись резолюцией Панина, которая теперь, после утверждения ее Государственным советом и императором, являлась обвинительным

документом, имеющим полную власть, 30 апреля 1854 года комиссия постановила:

«Отставного титулярного советника Сухово-Кобылина арестовать и подвергнуть его содержанию под стражею, согласно 1009 статье XV тома Св[ода] законов».

Военный генерал-губернатор Москвы незамедлительно утвердил это постановление.

Седьмого мая Александра Васильевича вызвали в Мясницкую часть «для прохождения некоторых формальностей». Он приехал. Ему предъявили постановление, тут же арестовали и под конвоем отправили в городскую тюрьму у Воскресенских ворот, где посадили в одиночную камеру. А дело вновь закружилось по департаментам, по уголовным палатам, по государственным советам и надворным судам. Великий Слепец, торжествуя свой праздник, погонял ломовых лошадей, восседая на козлах.

Дело по второму кругу прошло все инстанции. Возникнув по рапорту частного пристава, оно вошло «до подножия престола» двух императоров, вовлекло в судебный процесс более двухсот свидетелей, целую армию прокуроров, сенаторов, заседателей, следственных стряпчих и всех высших сановников России.

Это был, без сомнения, самый громкий уголовный процесс середины XIX века. Разговоры о судебных решениях, об арестах, о тюрьме преследовали драматурга до самой смерти. Но даже и смерть его послужила для прессы поводом для бурного обсуждения дела в некрологах.

«Фатальное это дело, — писало в 1903 году «Новое время», — наложило глубокую печать на всю последующую жизнь Сухово-Кобылина и нанесло ему рану, с которой он и сошел в могилу».

«Злосчастное это дело, — сокрушалась «Русская старина», — имело огромное моральное влияние на покойного А. В. Сухово-Кобылина и на всю его деятельность, он отказался от света, от всякой общественной деятельности, зарыл себя в деревне и умер на чужбине».

«Знаменитое дело, — вторили «Санкт-Петербургские ведомости», — навсегда оставило в нем неизгладимый след. Оно ранило его глубоко и жестоко».

«Несчастливая история, — говорилось в некрологе, напечатанном в «Московских ведомостях», — внезапная гибель какой-то француженки заставила А. В. Сухово-Кобылина уединиться в деревне, а впоследствии большею частью жить за границей».

За границей, кстати, разговоры о деле настигали его с таким же постоянством, как и в России. Их мог завести любой соотечественник, например писатель Боборыкин, встречавшийся с ним в Париже и потом припоминавший: «Не мог он и до конца своих дней отрешиться от желания обелить себя при всяком удобном случае. Сколько помню, и тогда, при нашей встрече в номере “Hotel de France”, он сделал на это легкий намек. Но у себя в Больё М. М. Ковалевский, его ближайший сосед, слышал от него не раз протесты против “клеветы”».

Едва ли он «обелял себя» в таких случаях по собственной инициативе. Журналист Юрий Беляев, не раз приезжавший к нему в Кобылинку брать интервью и не единожды пытавшийся завести разговор о «фатальном деле», пишет:

«О драме своей жизни он говорил мало. Вокруг него тревожно шептались, боясь чем-нибудь встревожить старые раны. Но в кабинете над кроватью висела бледная пастель французской работы в зо-

лоченой раме. Хорошенькая женщина в светло-русых локонах и с цветком в руке глядела оттуда задумчиво и улыбалась загадочно-грустно.

— Вот это она! — просто сказал однажды А. В., потом отвернулся и стал говорить о чем-то другом».

Фатальность дела состояла еще и в том, что оно *фатально* связало его литературную славу со славой арестанта, подозреваемого в убийстве.

«Своему пребыванию в тюрьме покойный обязан тем, что написал “Свадьбу Кречинского”», — напоминали в некрологе «Русские ведомости».

«Мы обязаны тремя превосходными пьесами ужасной случайности, — писала газета «Россия», сообщая о кончине драматурга, — “Свадьба Кречинского” — это плод тюремной тоски».

«Подумайте только, ведь “Свадьба Кречинского” написана в тюрьме! — восклицало в траурной статье «Русское слово». — Эта пьеса — как бы та цена, которою судьба расквиталась с ним за мучения. Кто знает, если бы не было в жизни Сухово-Кобылина тюрьмы, не было бы и этой пьесы».

«Свадьбу Кречинского» Александр Васильевич задумал писать еще во время своего первого ареста. Предварительные наброски некоторых сцен он сделал в начале 1852 года. Но заняться пьесой всерьез он не мог: вызовы в полицию, допросы и объяснения, хождения по департаментам — всё это отнимало и силы, и время. Он чувствовал желание писать и был раздражен невозможностью уединиться, успокоиться, забыться. Обстановка в доме была более чем тревожная: отец часами простаивал на коленях перед иконами и с отчаянием молил Бога прибрать его от позора в могилу, мать и сестры бес-

престанно ездили в Петербург, добиваясь приема у государя, и возвращались в слезах; к одной беде прибавилась другая — младшего брата Ванюшу постигла тяжелая душевная болезнь, и лечение у лучших докторов Москвы и Петербурга не приносило никаких надежд на выздоровление. Уголовное дело угнетало всю семью. Александр Васильевич был разбит, измучен, издерган. И вот — одиночная камера, узенький дощатый стол у стены, казенная чернильница, бумага и перья... Он почти готов был радоваться этим глухим тюремным стенам, надежно скрывшим его от мира.

«Постигшее меня в прошлом году шестимесячное противозаконное и бессовестнейшее лишение свободы, — писал он, выйдя из тюрьмы, — дало досуг окончательно отделать несколько прежде сего набросанных сцен, спокойствие угнетаемого, но никогда не угнетенного духа дало ту внутреннюю тишину, которая есть необходимое условие творчества нашего духа».

Он работал в тюрьме ежедневно, вставал в четыре утра, делал гимнастику и писал до позднего вечера. На вопросы следователей высочайше утвержденной комиссии он отвечал в эти месяцы механически, проявляя полное равнодушие к состоянию дела. Комедию — которую он, по его признанию, «не имел намерения предназначать для сцены» и которой суждено было выдержать тысячи постановок, пройти с триумфом, под грохот смеха и аплодисментов по сценам всех знаменитых театров России, поражая публику мощным и животворным зарядом юмора, виртуозной отточенностью комических сцен, — он писал в глубоком спокойствии, сосредоточенно, без тени улыбки на лице. Работа приносила ему только одну радость — радость забвения.



И он жадно пил эту радость ожесточенным сердцем, исцелял «угнетаемый дух», сочиняя сцену за сценой. Слова и образы пьесы защищали от прошлого, изгоняли мысли о будущем, одаряли беспредельным настоящим — «внутренней тишиной». Но как только эта тишина разрушалась, перед его мысленным взором вставал призрак: «Туманный образ Луизы с двумя большими слезами на глазах смотрит на меня, не спуская голубых любящих глаз, и в этих глазах две слезы — на шее рана — в сердце другие раны...»

«...Каким образом мог я писать комедию...»

И он писал ее, не понимая и не желая понимать, что с ним происходит. Он закончил «Свадьбу Кречинского» в тюрьме. Вывел на тонком сером листе: «Конец». Поставил точку, подвел черту — одну, чернильную, на бумаге, другую, незримую, в сердце:

«О годы, годы, прошли вы мимо, и, как туман, стоите вы сзади меня — среди вас бродят образы и лица прошедшего — тихие лики смотрят на меня грустно — ветер и буря жизни оторвали их от меня и вырвали вместе с ними мое сердце... Боже мой, как же это я не знал, что так ее любил. Прощай прошедшее, прощай юность, прощай жизнь, прощайте силы, я бреду по земле. Шаг мой стал тих и тяжел».

---

---

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Все-таки самое страшное на земле — человек, его душа. И особенно та, что, совершив свое страшное дело, утолив свою дьявольскую похоть, остается навсегда неведомой, непойманной, неразгаданной.*

И. А. Бунин. Страшный рассказ

«Днем моей милой Луизы» назвал он день 7 ноября. И каждую осень в этот день совершал пешее паломничество в Лефортово на Введенское кладбище, где «тихо, благоговейно, в сокрушении сердца припадал к холодному мрамору, на котором вырезано имя, еще глубже нарезанное в сердце»:

A LA CHERE ET TRISTE MEMORIE  
DE LUISE ELISABETH SIMON  
NEE LE 1 AVRIL 1819 † LE 7 NOVEMBRE 1850\*.

«Существует печальный закон нашей земной жизни, — написал он однажды сестре Евдокии, — что памятники живут дольше воспоминаний о тех, кому они посвящены».

Памятник черного мрамора — скорбная вежа его судьбы — и поныне стоит на Введенском кладбище.

---

\* Дорогой и печальной памяти Луизы Элизабет Симон. Родилась 1 апреля 1819, † 7 ноября 1850 (фр.).

«...Всё тихо там — всё прошло, всё умолкло, и вот я прихожу на тихую могилу, в то время когда события тащат меня в свой водоворот, всяческим смятением и шумом наполняют мой дух».

«...Я свято храню воспоминания о моей милой и всегда в сердце живой, тихой и неизгладимой Луизе».

«...Как нежная и легкая роса после денного жара, возникают в памяти малейшие события, малейшие ее слова, иногда только взгляд или движение, и мило и нежно становится на душе».

«...Живо и глубоко залегло в глубине души одно воспоминание. Это было в 1848 или 1849 году (то есть мне было 31 или 32 года), мы были с Луизой в Воскресенском. Был летний день, и начался покос в Пулькове, в Мокром овраге. Мы поехали с нею туда в тележке. Я ходил по покосу, она пошла за грибами. Наступил вечер, парило, в воздухе было мягко, тепло и пахло кошеной травой. Мерно и тихо шуршали косы. Я начал искать ее и невдалеке между двух простых березовых кустов нашел ее на ковре у самовара в хлопотах, чтобы приготовить мне чай. Солнце было уже низко, прямо против нас. Я сел, поцеловал ее за милые хлопоты и за мысль устроить мне чай. По ее белокурому лицу пробежало то волнение, ясное выражение, которое говорит, что на сердце страх как хорошо. Я вдохнул в себя и воздух и тишину этой картины и подумал — вот где оно мелькает и вьется, как вечерний туман, это счастье...»

Эти и многие другие отрывки из дневника Сухово-Кобылина, посвященные Луизе, впервые опубликовал в 1910 году Александр Рембелинский. Он был человек вполне простодушный, этот верный друг и сосед по имени. Ему представлялось, что

сокровенные записи драматурга вызовут в публике, и особенно в пишущей публике, если не сочувствие, то по крайней мере уверенность, что Кобылин не мог быть причастен к убийству Деманш. Но реакция была прямо противоположной. Уже через месяц после публикации дневников журналист Павел Росиев в шестом номере «Русского архива» восклицал:

«А мы верим, что наш известный писатель был убийцей француженки Симон! Да, Сухово-Кобылин убил свою любовницу Симон, тосковал впоследствии по ней. Касательно того, что у убитой Симон “зияла рана на горле” и т. д., не постарались ли для барина крепостные. В награду было обещано более 10 тысяч. Отрывки же из сантиментального дневника А. В. Сухово-Кобылина, опубликованные г. А. М. Рембелинским в “Русской старине” (май этого года), может быть, подтверждают только Ришпена: бесполезные жертвы не суть ли самые прекрасные и незабвенные?»

А в следующем, седьмом номере «Русского архива» журналист Николай Никитин продолжал тему:

«В этих “дневниках” явно чувствуется рука опытного литератора. Трудно всецело поверить в искренность стилистически обдуманых строк».

Литературовед пролетарских взглядов Леонид Гроссман, опубликовавший в 1927 году брошюру под названием «Преступление Сухово-Кобылина», напротив, в искренность Александра Васильевича верил, но истолковывал ее по-своему:

«Как бы ни был суров будущий драматург, всё же разразившаяся над ним катастрофа не могла не свергнуть его в глубочайшее отчаяние; помимо позора и грозного возмездия, ожидавшего его, Сухово-Кобылин не мог не быть искренне потрясенным

кровавым эпилогом своего романа, неожиданно раскрывшим в родовитом, культурнейшем дворянине, считавшем себя джентльменом и рыцарем, инстинкты и нравы темных подонков... Горе его в эти черные дни его биографии было искренним, и рыдать истерически ему было о чем... Всемерно подтверждая мнение старого Сената о полной невиновности четырех крестьян, годами томившихся в застенках дореформенных российских тюрем, новый приговор произносит блестящему русскому драматургу свое непоколебимое “да, виновен!”».

«...Ноябрь, 7. День моей милой Луизы...»

Восстановить события этого дня на основе показаний свидетелей, встречавшихся с Симон-Деманш, говоривших с ней или видевших ее накануне Дня архангела Михаила, не составляет труда. Судя по всему, сама Луиза назвала бы этот день прекрасным...

— Да, это был прекрасный день, Александр! Утром я выехала из дома в своем экипаже с мальчиком Галактионом, мы поехали в Газетный переулок к Эрнестине. Она очень обрадовалась, увидев меня, пригласила на обед. Я завернула в Охотный Ряд закупить провизию для стола, а потом завезла покупки к Эрнестине. Мы поболтали с ней немного, она спрашивала про тебя, Александр, и я сказала ей, что ты последнее время очень любезен в общении со мной. Перед обедом я заехала домой переодеться. Аграфена одела меня в шелковое клетчатое платье, в голубую бархатную кофточку, в теплый салоп на меху чернубурой лисицы. Я поехала из дома в Леонтьевский переулок в магазин господина Дюкло и накупила там целый ящик французских книг, отвезла их на Никольскую в контору твоего кузена Шепелева, а от него успела еще на Маросей-

ку к госпоже Друве, заказала у нее шляпки на лето для твоей матери и Софьи. К Эрнестине я приехала в третьем часу, меня встретил у подъезда Сушков... Ах, я забыла еще сказать тебе, у них в гостях был очень любезный молодой человек, Самуил Александрович Панчулидзе, может быть, ты его знаешь, он бывает в свете и, кажется, служит у генерала Закревского. В последнее время Самуил Александрович часто бывает у нашего милого поручика, Эрнестина говорит, что он приезжает из-за меня, но это вздор, Александр, ты ее не слушай, ей хочется позлить тебя, мой «строгий император». Я встречалась с ним только мельком, раза три, не больше, на квартире у Эрнестины. За обедом мы много шутили, смеялись, Сушков с Эрнестиной говорили, что редко видели меня в таком приятном расположении духа. Да, я была в прекрасном настроении и очень веселилась. Я рассказала им, между прочим, что наконец уложила в ящики вина из своего погреба, чтобы отправить их в деревню к Шепелеву, и что я рассчитываю получить от него деньги за это вино. И мы все вместе очень радовались, что у меня наконец заведется свой капитал. Я сказала им, что со временем и ты что-нибудь сделаешь для меня, для обеспечения моей жизни. После обеда Самуил Александрович предложил поехать кататься в санях. Все согласились. А когда мы спускались по лестнице, я просила Сушкова ехать в Петровский парк. Но Сергей Петрович стал возражать: «Что вы, Луиза, это далеко, покатаемся по городу, заедем к Люке!» Он с Эрнестиной сел в мои сани, а я поехала с Панчулидзевым в его санях, Самуил Александрович меня пригласил. Мы ели мороженое и пили шампанское на Кузнецком Мосту в кондитерской Люке, Самуил Александрович был так

любезен, оказывал мне знаки внимания и говорил комплименты. А потом мы катались по бульварам, от Тверских до Мясницких ворот, было ужасно весело, мы ездили «в обгон», Сушков свистел, как разбойник. Вечером мы поехали к Эрнестине, она уговаривала меня остаться «пить чай с мороза», но я торопилась домой, Александр, чтобы успеть послать тебе записку. Панчулидзеv вызвался меня провожать. Он поехал со мной в моих санях, а его сани пустые ехали следом. Я жалела, что день так быстро закончился, а мне еще хотелось кататься, гулять. Самуил Александрович проводил меня до самого дома. Мы расстались с ним у дверей моей квартиры. Войдя в свои комнаты, я почувствовала себя усталой, велела Галактиону убрать лошадей, зажгла в гостиной все свечи и легла отдохнуть. Пришел Ефим, я написала записку и отослала его к тебе, Александр, а потом всё ждала и ждала ответа, но от тебя, мой друг, никто не приходил, мне было очень грустно, я так измучилась, часу в десятом я, кажется, уснула... Или, может быть, я вышла из дому?... Не знаю... Я ждала записку и всё время думала о тебе...

В печати — и при жизни Александра Васильевича, и особенно после его смерти — высказывалось много различных предположений о том, кому могла быть известна тайна гибели французской модистки. Приводились списки лиц: сам Сухово-Кобылин, Надежда Нарышкина, камердинер Маркар Лукьянов, повар Ефим Егоров, кучер Галактион Козмин, горничные Пелагея и Аграфена, поручик Сергей Сушков, его содержанка Эрнестина Ландрет.

Вроде бы всё.

Но вот на страницах следственных материалов появляется фигура высокого человека с небольшими усами. Кто он такой, Самуил Александрович Панчулидзе?

Сведений о нем почти не имеется. Известно только, что ему было 25 лет, когда погибла Луиза; что был он дворянин из видного рода Панчулидзевых, владевших поместьями в Казанской губернии; что 12 лет прослужил он в канцелярии военного генерал-губернатора Москвы и вышел в отставку в чине титулярного советника; что в 1862 году женился. Больше ничего.

На одном из первых допросов горничная Пелагея Алексеева показала:

— В среду восьмого числа утром рано приходил осведомиться о Деманш неизвестный барин от мамзель Эрнестины, а после приходил сам Сухово-Кобылин, который, пробыв немного, отправился куда неизвестно. Приходивший же от Эрнестины был высокого роста, с небольшими усами, и когда сказали ему, что Деманш еще не приходила, то он сказал: «Ах, дело плохо», и с сими словами ушел. Сего человека знает Галактион, который говорил, что седьмого числа он катался в санях с Деманш.

В показаниях же Эрнестины Ландрет от 12 ноября среди прочего говорится: «...восьмого числа у Деманш в квартире я не была и к ней никого не посылала».

На эти чрезвычайно важные обстоятельства почему-то не обратили внимания ни царские следователи, упорно привлекавшие к делу «лиц высшего круга», ни пролетарские исследователи, с огоньком защищавшие «невинных крестьян».



Зачем пожаловал Панчулидзеv так рано в квартиру Деманш, еще до того, как там появился Сухово-Кобылин? В показании горничной сказано: «...а после приходил и сам Сухово-Кобылин». Как известно из материалов следствия, это было в восьмом часу утра; значит, Панчулидзеv явился еще раньше — не позднее семи или в начале восьмого. Что привело его сюда через несколько часов после гибели Деманш, и притом тогда, когда никто еще не был извещен о пропаже француженки? Что встретило его? Зачем солгал он, что послан был Эрнестиной? Откуда ему было знать, что «дело плохо»? И какое ему, дворянину, дело до любовницы Сухово-Кобылина, чтобы являться к ней на квартиру ни свет ни заря?

Ложь встречается на каждом шагу и в самом показании Панчулидзева от 17 ноября:

— Познакомился я с Симон-Деманш, бывая у поручика Сушкова, где и видел ее раза три-четыре. В последний раз, то есть седьмого числа, обедал у Сушкова, где и она была, и после обеда вместе катались по Москве и заезжали в кондитерскую Люке. Симон-Деманш сидела в моих санях со мной, а Сушков с Ландрет в ее санях. Поведение и состояние Деманш мне совершенно неизвестно. До смерти ее о любовной связи ее с Сухово-Кобылиным я не знал. (Каким образом мог не знать? Из показаний Сушкова и Ландрет явствует, что за обедом Луиза только и говорила о Сухово-Кобылине; да к тому же Панчулидзеv, приятель Эрнестины и Сушкова, которые часто говорили о ней, не мог не понять из их разговоров характер отношений француженки, жившей уже восемь лет в России, с известным всей Москве дворянином. Сам Панчулидзеv вращался в высшем свете, где связь Кобылина с модисткой об-

суждалась и осуждалась еще до трагических событий. — *В. О.*) ...Равно и о других связях, имела ли она таковые, не знаю. Была ли она у Сухово-Кобылина после нашего катания, не знаю. После катания привез ее на квартиру, она торопилась в квартиру, а я уехал. Во время обеда и прогулки о желании своем кататься в парк она не говорила. (Это тоже ложь. О желании ехать в парк она говорила несколько раз, что подтверждают все показания Ландрет и Сушкова, а также письмо поручика Кобылину. — *В. О.*) ...О надобности своей ехать седьмого числа вечером в село Хорошево или куда-нибудь еще ничего мне не говорила. Ревновал ли Кобылин Деманш к кому-либо или она его, мне тоже неизвестно. (Не могло быть неизвестно. Разговоры о ревности Деманш и о романе Кобылина с Нарышкиной ходили по всей Москве еще до открытия преступления; даже купцы, не говоря уже о дворянском обществе, знали всю историю в подробностях. — *В. О.*) ...Во всё время бытности Деманш у Сушкова она была в прекрасном расположении духа и ни на что не жаловалась. Кто именно виновен в убийстве ее, мне неизвестно, и подозрений ни на кого не имею.

Во втором и последнем своем показании Панчулидзеv заявил, что он «решительно ничего не может помнить», ему «решительно неизвестна причина убийства» и он «решительно ничего по этому делу не знает».

Вот так, двумя показаниями отделался Самуил Александрович, в то время как все, даже самые незначительные, свидетели вызывались на допросы десятки раз. А ведь из «лиц высшего круга», «прикосновенность» которых к убийству, по мнению министра юстиции и обер-прокурора, являлась

«несомнительной», Панчулидзеv был последним, кто виделся и общался с Деманш перед ее гибелью, и первым, кто после убийства — вопреки дворянскому этикету, в столь ранний час, без всякого приглашения и предупреждения — приехал в ее квартиру.

Профессиональный следователь любой эпохи и любого государства был бы далек от исполнения своих прямых обязанностей, если бы оставил без внимания подобного рода факты. Но следствие по делу об убийстве Деманш вели не просто профессионалы, а профессионалы *заинтересованные*. И если бы следствие не велось целенаправленно против Сухово-Кобылина, если бы частные приставы не собирали улики *только против Сухово-Кобылина*, если бы Панин и Закревский не направляли дело в одну сторону, на Страстной бульвар, не миновать бы Самуилу Александровичу — при той легкости, с какой выдавались в России во все времена разрешения на аресты, — секретных комнат Мясницкой части или гауптвахты у Воскресенских ворот... Но создал бы он там что-нибудь равное «Свадьбе Кречинского»?

---

---

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*Странная судьба — в то время как, с одной стороны, пиэсса моя мало-помалу становится в ряд замечательных произведений литературы, возбуждает всеобщее внимание, подлейшая чернь нашей стороны, бессовестные писаки судебного хлама собираются ордою клеймить мое имя.*

Дневник А. В. Сухово-Кобылина

В те полгода, когда Александр Васильевич занимался в тюрьме литературными трудами, над его делом усердно трудились чиновники всех рангов. «Особая Чрезвычайная и Высочайше Утвержденная» следственная комиссия провела переследование. Дело было отправлено в Министерство юстиции, затем в Сенат, который препроводил его к военному генерал-губернатору Москвы с указанием о прохождении по всем инстанциям без очереди. В октябре 1854 года дело поступило в надворный суд.

Неопровержимых доказательств вины Сухово-Кобылина у следствия не имелось, дальнейшее содержание его под стражей было уже сопряжено с юридическими сложностями. Для продления срока заключения нужно было распоряжение императора. Но такого распоряжения комиссия не получила.

Второго ноября 1854 года надворный суд вынужден был принять решение об освобождении Сухово-Кобылина из-под стражи.

Освобождение это было, так сказать, условным. Александра Васильевича и его камердинера Макара Лукьянова «отдали из-под стражи на поручительство полковницы Сухово-Кобылиной с обязанностью представлять означенных лиц когда и куда потребуется».

После выхода из тюрьмы Александра Васильевича занимало только одно — пьеса. Он не пробыл дома и недели, едва успел нанести визиты близким родственникам и тут же, пренебрегая подпиской о невыезде из Москвы, уехал в Петербург.

В середине ноября он внес «Свадьбу Кречинского» на рассмотрение цензора Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии Гедерштерна.

«Объяснение с ним было резкое, — вспоминал Александр Васильевич. — Он восстал на слог, который признал тривиальным и невозможным на сцене, и когда я намекнул ему на его некомпетентность как германца судить мой русский слог, то он, бросивши на меня свирепый взор, объяснил мне коротко, что пиэссу мою запрещает. Поставил на ней красный крест».

Из Петербурга Александр Васильевич вернулся расстроенный и подавленный — запрета он не ожидал.

В Москве после первой же читки пьесы в кругу друзей о ней заговорили, она стала ходить по городу в списках. Автора уверяли, что постановка комедии будет иметь огромный успех, надо только провести ее на сцену. Он сомневался, отшучивался, говорил, что вещица эта пустячная, что он не желает видеть ее в театре, что писал ее ради забавы, чтобы не было скучно в тюрьме. Он, конечно, кокетничал, ибо цену своему перу уже знал по реакции

первых слушателей и по той быстроте, с какой распространялись по Москве рукописные копии. Друзья не оставляли его в покое. Один из них, Дмитрий Потулов, привез к нему на Страстной бульвар Прова Михайловича Садовского и настоял, чтобы Александр Васильевич прочитал ему пьесу.

— Знаменитый артист, — рассказывал потом драматург журналистам, — выслушав чтение пьесы, отнесся к ней очень холодно. Садовский забраковал мою пьесу и предсказывал ей полный провал, заявив, что она вряд ли может быть воспроизведена на сцене.

Впоследствии Садовский был, по мнению Сухово-Кобылина, лучшим исполнителем роли Расплюева. И именно те сцены, которые Пров Михайлович назвал никуда не годными, в его исполнении имели наибольший успех.

— Компетентное мнение гениального артиста, — утверждал Александр Васильевич 40 лет спустя в интервью журналу «Семья», — еще более охладило меня к постановке.

На самом деле отзыв Садовского его не охладил. Напротив, он был задет и даже раздражен. У него появилось страстное желание провести пьесу на сцену, отдать ее на суд зрителей, доказать Садовскому, что его мнение ошибочно. Это было не литературное тщеславие, это было кобылинское самолюбие — гордость или, скорее всего, азарт. Он взял пьесу и уехал в Петербург, встретился там со знаменитым актером Александринского театра Алексеем Максимовым и предложил ему взять «Свадьбу Кречинского» в бенефис и играть в ней главную роль.

Максимов читал пьесу несколько дней, затем назначил автору встречу в театре, чтобы объявить ему свой ответ в присутствии коллег:

— Милостивый государь, я не только не возьму вашу пьесу в свой бенефис, но и ни под каким видом не стану играть в ней. Это грязная пьеса, выведены какие-то каторжники, на которых нельзя смотреть без отвращения, и я вовсе не желаю быть ошиканным.

Максимов вручил Кобылину папку с пьесой, откланялся и удалился.

Александра Васильевича охватила ярость. Это было публичное оскорбление. Он едва сдержал себя, чтобы не наговорить ответных дерзостей. С этого момента у него возникло и навсегда укрепилось презрение к актерам, их взаимоотношения носили очень сложный, если не сказать скандальный, характер.

Через несколько дней Сухово-Кобылин встретился в Петербурге со звездой столичной сцены Александром Мартыновым и предложил ему прочесть пьесу и взять ее в бенефис. Но Мартынов даже не стал ее читать, заявив, что с пьесой уже знаком и «относительно ее достоинств» совершенно согласен с Максимовым.

Это были впечатляющие неудачи. Александр Васильевич отчаялся. Почти полгода он не предпринимал никаких попыток провести «Кречинского» на сцену. Впрочем, событие, которое определило судьбу пьесы, произошло случайно, помимо желания и воли ее автора.

Двадцать шестого мая 1855 года Дмитрий Потулов, которого Сухово-Кобылин называл энтузиастом пьесы, организовал ее публичное чтение, пригласив в дом на Страстном бульваре актеров и литераторов. Александр Васильевич был недоволен затеей, обругал Потулова за чрезмерную хлопотливость, но отступить было поздно. Собралось чело-

век тридцать. В два часа дня он начал читать. Среди гостей присутствовал ведущий актер Малого театра Сергей Шумский. Перед читкой Потулов успел сказать Александру Васильевичу, что «великий Шумский» давно уже ищет пьесу для своего бенефиса и готов взять произведение даже неизвестного автора, лишь бы оно ему понравилось. Словом, Шумский был главным лицом, для которого Потулов устроил это чтение. Это известие еще больше расстроило Александра Васильевича, он уже знал, какие жесткие оценки можно услышать от актеров и в особенности от великих актеров. Первое действие он читал без всякого воодушевления. Но потом, когда чтение стало прерываться аплодисментами, взрывами смеха, восторженными возгласами гостей, он приободрился, повеселел и читал свою комедию великолепно, мастерски, как не читал ее потом никогда в жизни.

Гости разъехались поздно вечером. Проводив их, он записал в дневнике:

«Читал им свою пиэссу “С. Креч.” — успех. Шумский просит ее себе на бенефис».

Всё лето 1855 года читки в его доме устраивались чуть ли не каждую неделю, и всякий раз — успех, успех, успех.

В начале августа Александр Васильевич во второй раз отдал свою пьесу на рассмотрение цензуры.

«Свидание с цензором в 3-м отделении, — записал он в дневнике. — Высокий человек, худошавый — наружностью походит на правителя дел у какого-нибудь большого барина. Говорит мягко и решает без апелляции, не допускает никакой тривиальности и потребовал, чтобы многое было переменено, а то, говорит, “мы положим крестик — так и дело с концом”».



Красных крестиков он уже боялся, но изменять ничего не стал. Пригрозил цензору, что обратится к министру двора или к самому государю. Но этого не потребовалось. Угроза подействовала. 16 августа 1855 года с пьесы сняли запрет.

«Весьма рад и в духе», — коротко отметил он в дневнике.

В конце августа того же года в 114-м номере «Московских ведомостей» появилась заметка журналиста Плещеева, присутствовавшего на одной из читок «Кречинского». Это было первое упоминание в печати о пьесе Сухово-Кобылина. Потом их будет много: пространные статьи, восторженные отзывы и площадные ругательства, критические размышления и измышления, большинство которых он никогда не читал. Но эту заметку он прочел и сохранил газету в своем архиве.

«Недавно мы имели удовольствие, — писал Плещеев, — слушать чтение одной комедии, написанной г. Сухово-Кобылиным, и были приятно поражены ее достоинствами. Поздравляем нашу литературу с замечательным приобретением; характеры в комедии очерчены ярко и рельефно, интрига весьма занимательна, хотя автор несколько не думал прибегать к тем дюжинным эффектам для поддержания интереса, которых так много в любой французской пьесе, — напротив, всё действие вытекает из самого характера действующих лиц просто и естественно; если прибавить к этому неподдельный живой юмор, присутствие которого обнаруживается на каждом шагу неудержимым хохотом слушателей, то нельзя не согласиться, что трудно было ожидать столь зрелого и обдуманного произведения от автора, в первый раз решившегося пробовать силы на литературном поприще».

В последний день августа Александр Васильевич представил «Свадьбу Кречинского» в дирекцию Императорских театров с заявлением на поспектакльную оплату.

На 28 ноября 1855 года была назначена премьера в Малом театре.

Директор Императорских театров обеих столиц Александр Михайлович Геденов ждал этой премьеры с особым волнением, с каким ждут на финише бегов темную лошадку, зажимая в руке заветный билет. Он слишком многое поставил на «Свадьбу Кречинского»: свою репутацию, честь и должность. Коммерческое чутье подсказывало ему, что публика Москвы и Петербурга оплатит золотом каждую реплику, каждое слово этой комедии. Но в чей карман потекут деньги? Неизвестного автора, выскочки, барина, вздумавшего занять себя на досуге драматическими сочинениями? Думать об этом Александру Михайловичу было грустно. Ему не раз приходилось брать с актеров взятки за распределение ролей, но это было просто и безопасно. Мощенничество требовало иных талантов, а главное — риска.

И он рискнул. Заявление о поспектакльной оплате давало автору право на получение трети кассовых сборов со всех постановок пьесы в течение двадцати лет. Перед самой премьерой Александр Михайлович Геденов собственноручно сжег это заявление и задним числом, от 2 сентября 1855 года, составил постановление, гласившее, что пьеса передана автором в контору театров на условиях бенефисной оплаты. Это означало, что сразу же после выплаты гонорара за первую постановку пьеса переходила в собственность Императорских театров. Геденов знал, что без соответствующего заявления

автора постановление не будет иметь силы. Но был один — впрочем, довольно отчаянный — ход: подписать постановление у министра двора графа Владимира Федоровича Адлерберга, под контролем которого находились Императорские театры. Разумеется, его надо было ввести в заблуждение, обмануть, сделать невольным соучастником подлога. Это было опасно — грозило скандалом, потерей должности, расстройством всех дел. Но могло и проскочить. И тогда никакой суд не осмелился бы опровергать законность документа за подписью Адлерберга. Такая игра вполне устраивала Александра Михайловича. Граф Адлерберг был хорошо знаком с Сухово-Кобылиным, знал о его огромном состоянии и потому не нашел ничего сомнительного в том, что богатый барин продает свою пьесу в собственность театров, не требуя за нее постоянного авторского гонорара — процентов со сборов. Гедеонов легко убедил графа в том, что у него имеется согласие Сухово-Кобылина на бенефисную оплату и что формальные обстоятельства и чрезвычайная спешность дела требуют министерской подписи на постановлении. Адлерберг подписал бумагу.

Несколько месяцев спустя, когда Александр Васильевич узнал во всех подробностях о мошенничестве Гедеонова, им овладел такой же приступ неудержимой ярости, какой он уже испытал однажды в кабинете обер-прокурора Лебедева.

Мошенники, мошенники... Они были неотступными демонами его *странной* судьбы. Они грабили, разоряли и обирали его с таким же изяществом, с каким он «возводил в перл создания» своих бессмертных мошенников, томимых жаждой богатства...

Протиснувшись сквозь толпу актеров, с утра до вечера осаждавших двери петербургского кабинета Гедеонова, он ворвался в этот просторный и роскошно обставленный кабинет, сделал несколько шагов к столу и с размаха метнул свою трость с позолоченным набалдашником в голубую китайскую вазу, красовавшуюся на высокой подставке за плечом Александра Михайловича. Осколки разлетелись в разные стороны.

— Господин высочайший директор! Я изумлен! Ваше мошенничество исполнено великолепно!! Я хотел бы знать: как удалось вам втянуть в это дело министра двора?

— Я нагнал Адлербергу, — с мирной, почти приветливой улыбкой ответил Гедеонов, глядя в глаза Александру Васильевичу. — И что же ты теперь собираешься делать, а? Крушить мои вазы? Так я сейчас кликну кого-нибудь...

— Что?! Что я собираюсь делать?.. А вот что!!

Сухово-Кобылин быстро перегнулся через стол, крепко ухватил Гедеонова за шиворот и выдернул из кресла. Не отпуская притихшего директора, держа его почти на весу, пронес его через всю приемную, выволок на улицу и затолкал в свою карету.

Через полчаса они были у Адлерберга.

— Граф! — восклицал Александр Васильевич. — Сейчас вот эта шельма, — он приподнял Гедеонова за воротник и придвинул к его лицу кулак, — признается в своем мошенничестве и в вашем присутствии попросит у меня прощения! Ну!

— Я... я... ваше сиятельство, я... должен вам сказать, что имел неосторожность... ох, черт!.. то есть я имел наглость уничтожить заявление господина Кобылина о перспективной оплате его пьесы и задним числом составил это... то есть то самое по-

становление, которое обманом склонил вас подписать, в чем теперь глубоко раскаиваюсь... и приношу извинение...

— Еще! Еще раз! Всё сначала!

— Довольно, голубчик, оставь его... и пусть убирается. Я теперь ничего не могу для тебя сделать. Но с него взыщу непременно... Вы слышали, что я сказал? Подите прочь, господин Гедеонов!

Да, сделать Адлерберг уже ничего не мог — министр императорского двора не мог объявить, что поставил подпись на подложном документе, и, оставшись наедине с Александром Васильевичем, только вздыхал: «Ох плут! Ох плут! И как же я не раскусил его?»

Был ли Александр Васильевич удовлетворен этим запоздалым и принудительным раскаянием директора? Едва ли. Впрочем, сцена позабавила его и утешила самолюбие. Через два года Гедеонов, стараниями графа Адлерберга, лишился своей влиятельной и доходной должности. Он навсегда исчез из театрального мира России, которым правил 11 лет. В старости ему было чем гордиться — он вошел в историю, ибо ни до, ни после него никому не удавалось повернуть столь значительную махинацию: директор Императорских театров ограбил автора «Свадьбы Кречинского» на полмиллиона. За 20 лет пьеса дала полтора миллиона рублей кассового сбора. Автору причиталась треть. Такого дохода не приносили все предприятия, устроенные им в родовых имениях; когда его постигло полное разорение, гонорар за пьесу мог бы составить ему богатство, равное тому, каким он обладал в молодости. Но Великий Слепец распорядился по-своему.

— Все мои ходатайства о гонораре, — жаловался Александр Васильевич журналистам, — оставались

тшетными. После тяжелых испытаний в эпоху Дубельта\*, от которого зависела цензура пиэсс, лишение меня авторского гонорара было новым ударом. Пиэсса была собственностью театров и свободно ставилась на сценах обеих столиц.

В середине ноября 1855 года в Малом театре была выставлена афиша с выведенным на ней именем Сухово-Кобылина. Явившись в театр на репетицию, он долго стоял перед этой афишей — смотрел на нее с изумлением. «Странно и смутно мне было видеть мое имя на афише бенефицианта, — записал он в дневнике. — Репетиция. В театре я произвожу страшный эффект — все глаза следят за мною, при моем появлении легкий говор пробегает в толпе актеров. Все места на представление разобраны; по всему городу идут толки. Некоторые увлеченные всякими похвалами ходят и рассказывают, что пиэсса выше “Горя от ума” и проч. ...Везде одно — толки, ожидания чего-то удивительного, пленительного, обворожительного, ожидания, которые, по моему расчету, должны быть во вред первому впечатлению».

Москва действительно была взбудоражена. Публика толпами осаждала кассу Малого театра. К вечеру 26 ноября все билеты были не просто распроданы, а распроданы по небывало высоким ценам: за кресло в бельэтаже платили 15 рублей серебром, за ложи — 70!

Александр Васильевич был раздражен. Он хорошо понимал, что ажиотаж вокруг пьесы подогрева-

---

\* *Леонтий Васильевич Дубельт* (1792—1862) — управляющий Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1839—1856).

ется его уголовным делом, следствие по которому продолжалось полным ходом. Еще заседали, решая его судьбу, суды и палаты, еще препирались сенаторы, еще шныряли по департаментам чиновники с протоколами допросов, а сам Сухово-Кобылин, главный подозреваемый в убийстве француженки, был обвязан подписками и полицейскими предписаниями, у него не было паспорта, который конфисковали до решения суда, за ним тайно следили осведомители военного генерал-губернатора, и он в любую минуту мог вновь оказаться в тюрьме.

Пьеса всколыхнула новую волну сплетен и толков. Говорили, что в основе сочинения его собственное уголовное дело, что этой пьесой он как бы дает показания суду и «в аллегорической форме» сознается в преступлении. И чем ближе была премьера, тем более невероятные рассказы ходили о трагической ночи 1850 года. «В городе продолжались зловещие для меня слухи по поводу моего участия в убийстве Луизы, — вспоминал он. — Можно себе вообразить сенсацию этой вероломной и тупоумной публики, когда она узнала, что этот злодей написал пиэссу и выступает автором драматического сочинения».

Сенсация была шумная. «Богатый московский барин, — удивлялся «Ежегодник Императорских театров», — помещик, имеющий громадное дело об убийстве француженки, вдруг совершенно неожиданно для всех знавших его появляется с произведением, написанным настолько сценично, как никогда не писал и Островский!»

Те, кто уже был знаком с текстом «Свадьбы Кречинского», пытались отыскать истоки ее сюжета в какой-нибудь светской истории и делали это с таким же упорством, с каким позднее иные из крити-

ков пытались уличить автора в плагиате. Газетчики утверждали, что в основе комедии лежит «слегка обработанный» скандальный анекдот о светском авантюристе, картежнике и крупном мошеннике поляке Крысинском. Этот Крысинский, по их рассказам, одно время жил в Ярославле, где будто бы с ним и встречался Сухово-Кобылин в семье местного помещика Ильина, который «дал ему материал для создания Муромского». Прототипом же Расплюева якобы послужил некий певчий архиерейского ярославского хора Евсей Крылов, бильярдный игрок и шулер, состоявший при Крысинском подручным во время пребывания того в Ярославле. После какой-то (какой именно, точно не говорилось) мошеннической проделки на бильярде с актерами местного театра его выбросили из окна гостиницы «Столбы». Крысинский же еще долгое время куролесил в Москве и Петербурге, где его будто бы принимали в лучших домах благодаря представительной внешности и светскому лоску, а потом уличили в подмене драгоценной булавки...

В бумагах Сухово-Кобылина нет никаких упоминаний о поляке Крысинском и певчем Евсее Крылове. Обязан ли драматург сюжетом своей комедии этим двум, без сомнения, незаурядным мошенникам, трудно сказать. Известно только, что намеренный польский акцент в игре некоторых актеров, исполнявших роль Кречинского, раздражал его чрезвычайно.

Двадцать первого ноября в Малом театре прошла генеральная репетиция пьесы. Александр Васильевич присутствовал на ней и остался очень доволен — и актерами, и самой комедией. «Достоинство ее начинается из ценности удачи быть возво-



димо к ценности литературной, — отметил он в дневнике. — Сказывали, что Садовский в роли Расплюева уморил всех со смеху — даже суфлер кис со смеху над своим манускриптом. Вообще нынешний день надо заметить как переходный пункт от просто театральной пиэссы к литературному произведению. Интерес в городе сказывается всеобщий. Что-то будет? как пройдет этот замечательный день? Припоминаю я себе, как любящий и во всей простоте своей любовью далеко зрящий глаз моей Луизы видел во мне эту будущность. Когда случилось мне явиться перед нею в черном фраке и уборе светского человека, часто говорила мне: *Comme vous avez l'air d'un homme de letters\**».

Двадцать седьмого ноября, накануне премьеры, он впервые за последние годы был весел. Вращая сверкающую трость в морозном воздухе, он быстро шагал вниз по Петровке на последнюю репетицию в Малый театр. Свежий снег ободряюще скрипел под его штиблетами, он смотрел на крыши домов, на дымящиеся трубы и что-то сосредоточенно насвистывал в свои толстые, заостренные на концах усы. Он не слышал, как его окликал невысокий полный человек, бежавший следом от самого Страстного бульвара и не поспевавший за его скорым пружинистым шагом. Это был Шумский.

Он догнал Александра Васильевича на углу Столешникова переулка, схватил за рукав и, не в силах вымолвить слово, с минуту стоял перед ним, запыхавшийся, с перепуганным лицом, явно чем-то расстроенный.

---

\* Как вы похожи на литератора (фр.).

— Всё, всё, милостивый государь... всё пропало!.. — забормотал он отчаянной скороговоркой. — Всё сорвалось, перевернулось!

— Да помилуйте, дорогой Шумский! Что с вами? Вы сперва отдышитесь, а? Что? Ваш театр сгорел? Или удавился господин Гедеонов?..

— Провалилось...

— Что, куда провалилось?

— Ваша комедия!

— Какая комедия? О чем вы?

— «Свадьба Кречинского», черт побери!

— Но почему же?

— Да потому, что некому играть роль Атуевой!

— Как некому? А что же Акимова?

— В том-то и дело, любезнейший Александр Васильевич, что Акимова объявила, что она в вашей комедии играть не будет... Понимаете? У нее скончался муж... она в трауре, она убита горем... И я тоже убит! Убит наповал! Боже мой, что будет?!

— Так вы бы взяли другую актрису, — спокойно возразил Александр Васильевич.

— Мы взяли! Взяли! — горячился Шумский. — Эту! Рыкалову! Так она же полная дура! Мы учили ее, мы репетировали с ней две ночи, и всё без толку. Она плоха, из рук вон плоха! Она провалит всю пьесу... мой бенефис!.. Нас освистают, нас ошикают, побьют палками!

— Ну уж так и палками! Рыкалова знает роль?

— Знает, — недовольно ответил Шумский. — А что толку! Эдак и попугая можно выучить...

— Знает, и бог с ней... Я так уверен в успехе пьессы, дорогой Сергей Васильевич, что вы меня теперь ничем не напугаете. Ваш бенефис прогремит, вот увидите!

— Вы шутите?

— Нет, не шучу... Идемте в театр, посмотрим на вашу Рыкалову... И бросьте горевать по пустякам! Вам же завтра играть, вам надо быть в настроении, идемте!

Александр Васильевич был полностью уверен в успехе комедии. Однако же в день премьеры он выглядел мрачно, был подчеркнуто сдержан и неразговорчив. Оделся он официально, как одевался, собираясь в полицию на допрос, — в черный фрак поверх черной, обтягивающей жилетки, с атласным коричневым галстуком, скрепленным бриллиантовой брошью с фамильным гербом, и в высокий черный, отливающий синевой цилиндр.

В театр он приехал за два часа до начала спектакля, чтобы не показываться на глаза публике. С артистами не разговаривал — сразу прошел в литературную ложу своей сестры, графини Салиас де Турнемир, и сел так, чтобы его не было видно из зала.

Кречинского на московской премьере играл Шумский, Расплюева — Садовский, Муромского — Щепкин, Атуеву — Рыкалова, Нелькина — Васильев. Это был цвет театральной России.

«28 ноября в 7 часов вечера, — писал корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей», — кареты и всякие экипажи, как бы во время представления Рашели или Фанни Эльслер\*, длинную вереницей спешили к подъезду Московского театра.

---

\* *Элиза Рашель* (1821—1858) — французская актриса театра «Комеди Франсез». Ее гастроли в 1853—1854 годах проходили с огромным успехом, как и выступления австрийской танцовщицы Фанни Эльслер (1810—1884), гастролировавшей в России в 1848—1851 годах.

В коридорах и всевозможных проходах была страшная давка и теснота. На окнах кассы поражала опоздавшего роковая надпись: “Места все проданы”. Театр был полон, несмотря на чрезвычайно высокие цены. В самой зале, в ложах и партере шла оживленная беседа. Но вот оркестр заиграл увертюру к опере “Черное домино”, зрители стали рассаживаться по местам, тишина мало-помалу водворилась, нетерпение росло с каждой минутой, и наконец при общем глубоком молчании взвилась занавеса...»

«...и вот она — вот она, моя пиэсса, вот слова, написанные в тиши уединения, — вот они громко, ясно и отчетливо гремят в безмолвной, несколько сумрачной и полной головами зале».

В полумраке торжественно убранной ложи, среди хризантем, тоскливо светящихся в застоявшемся воздухе, пропитанном запахом теплого бархата, он сидел, не касаясь выпуклой спинки кресла, прямо и неподвижно, как перед темным зрачком фотокамеры, держа на коленях портретик Луизы — свой горестный талисман. Радость и страх, сменяя друг друга, поднимались в груди и знобящими волнами ударяли ему под ключицы. Не отрываясь ни на мгновение, он пристально смотрел в яркий провал освещенной сцены, следил за малейшими движениями актеров и чувствовал замирающим сердцем, как дрожат и качаются где-то в тревожном пространстве зала чаши незримых весов... Успех или падение? «Нет, нет, — твердил он себе, — не надо ничего ждать от первого акта! Это экспозиция, пролог — вещь легкая. Всё решит второй акт! Именно второй акт... Я дождусь его спокойно... спокойно... сморкаются, кашляют... Прямо всем залом, как будто назло! Как будто сговорились... сговорились... говорит! Федор говорит! Да, это Федор... его моно-

лог... это второй акт... Уже? Так скоро? Что-то я думал о втором акте... Ах да! Теперь всё решится... весы... Но он же плохо говорит монолог, совсем ни к черту!.. ни к черту... Впрочем, смотри-ка, внятно. Садовский... выходит; вышел превосходно!.. хорошо! хорошо!.. Великолепная игра — он старается; Пров Михайлович старается! Ага... вот и Шумский... тоже страшно старается. Что это? Смех? Смеются!.. Замолчали. Тишина. Почему так тихо?»

Сцена за сценой прошел второй акт — и занавес закрылся при глубоком молчании публики. Драматург, слушая эту убийственную тишину, сидел с закрытыми глазами; смуглое лицо его стало бледным, в цвет холодного воска. «Мой весь расчет был основан на втором акте — по-моему, если второй акт не вызывает рукоплесканий у публики, пиэсса не имеет шансов на блистательный успех».

Рукоплесканий не было. Объявили антракт, но публика еще с минуту не двигалась с места. Все были озадачены. В ложу к Александру Васильевичу постучали. Он встал, открыл дверцу. Вбежал Феоктистов и тут же затараторил:

— Шумский плох-плох-плох! А ваша трагедия... ну что? ничего!

Трагедия!.. Кобылин едва сдержал себя, чтобы не наговорить Феоктистову дерзостей и не выставить его вон из ложи. «Вокруг меня стало смутно — холод, чувство отчаяния и ни одного взгляда, ни одной руки». И почудилось вдруг Александру Васильевичу на один лишь короткий, но мучительный миг: провал, неуспех, позор! И поплыли в сумрачном зале пышные люстры, сияя зловещим огнем, исказились злорадными гримасами напудренные лица, и грянули в душу, сражая ее ядовитыми стрелами, сомнение, неуверенность, страх. «Однако же

публика не равнодушна, — успокаивал он себя. — Вся зала зашевелилась! Кругом страшный говор, шум, разговоры и споры... Это должно что-то значить... Да, да, это переломная минута, за которой идет или успех или падение. Что ж, посмотрим. Интрига завязалась — и публика стоит сама перед собою вопросительным знаком, который... который еще не есть знак восклицания!»

Ему казалось, что антракту не будет конца; теряя самообладание, он поминутно вытаскивал из кармана жилетки часы и раздраженно смотрел в маленькое безучастное личико циферблата, поблескивающее унылыми усиками стрелок... Но вот дирижер поднял над своим затылком палочку, оркестр мгновенно ошетинился смычками; музыка заиграла, зашумел занавес...

«Третий акт, — записал он потом в дневнике. — Сцена Расплюева с Федором двинула публику! Сцена Расплюева с Муромским разразилась страшным могучим залпом хохота! В глубоком молчании, прерываемом едва сдерживаемыми рукоплесканиями, сошел конец третьего акта...»

Одно лишь мгновение была тишина... А потом будто лавина сорвалась. Грохот аплодисментов заполнил весь зал; взлетали над головами и порхали, как пестрые бабочки, букеты, перчатки и веера; крики «браво! браво!» неслись отовсюду; в партере, на бельэтаже и в ложах все встали и аплодировали стоя, кто-то из первых рядов выкрикнул: «Где автор?!» — и весь зал подхватил:

— Автора! Автора!!

— Кобылина на сцену! Ура! Ура!

— Найти его! Качать!!

Александр Васильевич не выходил. Спустя час он писал в своем кабинете: «Я надел шубу, взял

шляпу — и ускользнул из ложи, как человек, сделавший хороший выстрел. И в коридор. И там был слышен целый гром рукоплесканий. Я прижал ближе к груди портрет моей милой Луизы — и махнул рукой на рукоплескания и публику. Успех, успех — и только!»

Наутро после премьеры он отправил письмо матери в Петербург:

«Любезный друг маменька.

Пишу тебе несколько строк, ибо опоздал на почту. Вчера давали пиэссу — впечатление сильное, успех большой, но мог бы быть и больше. Публика была озадачена, была кабала, последнее действие взяло свое. За ложи платили до 70 рублей серебром, всё было набито битком. Завтра дадут опять, и уже мест нету, всё взято. Меня вызывали, но я не вышел. Не стоят они того, чтобы я перед ними поклонился».

Отныне это стало его правилом — драматург Сухово-Кобылин не выходил кланяться публике.

— Я сам публика! — говорил он журналисту Юрию Беляеву.

Двадцать девятого ноября взрывная волна успеха дала о себе знать у кассы Малого театра. Коляски, кареты, извозчичьи экипажи тянулись по всей Петровке, огромная подвижная толпа заполнила всю площадь перед театром; словно ключья пены над бурлящей водой, вздымались в сплошном облаке пара цилиндры, трости, манжеты, полы измятых плащей. Давка была ужасная, затевались скандалы и драки; полиция вынуждена была усмирять толпу и выносить из толчеи на руках тех, кому удалось купить билет.

В среду 30 ноября на второе представление «Свадьбы Кречинского» Александр Васильевич приехал с большим опозданием — к концу первого акта. Привычная уверенность в себе, спокойствие, холодная барская гордость вернулись к нему. Он не стал подниматься в ложу. Прошел за кулисы. Шумский встретил его объятиями, горячо пожимал ему руки. Александр Васильевич сдержанно улыбался.

— Что публика нынче?

— Вся, вся новая, дорогой Кобылин! Зал ломится!

С середины второго акта аплодисменты и возгласы «браво!» раздавались в переполненном зале беспрестанно. Прерывая действие, публика дважды вызывала Садовского; вызывали и Шумского. На протяжении всего антракта зрители, не покидая зала, дружно скандировали: «Ав-то-ра!! Ав-то-ра!!» Шумский то и дело бегал за кулисы, хватал Александра Васильевича за рукав, пытался вытащить его на сцену. Он не выходил.

На третье представление, 1 декабря, билеты были распроданы по 100 рублей серебром за ложу. «Места берутся с бою, — писали газеты. — Попасть в Малый театр на пьесу г. Сухово-Кобылина публика почитает за необыкновенное счастье!»

Успех нарастал с каждым представлением. В понедельник 5 декабря «Свадьбу Кречинского» давали в четвертый раз — и театр был набит битком. На два последующих представления, назначенные на 7 и 9 декабря, все билеты были уже проданы; публика записывалась на седьмой спектакль, который еще не был назначен. «Мне говорят в театре, — писал Александр Васильевич, — что такого примера у них не помнят!»

Стоило ему в эти дни появиться в театре, как все низко кланялись — актеры, директор, режиссер,



начальники, ходили за ним неотлучной свитой, подставляли стулья, угощали шампанским, подавали шубу и трость. Его уговаривали быть на каждом спектакле, уверяли, что иначе и дирекция, и актеры просто умрут от горя. И он приезжал. Сам директор встречал его у подъезда и, опережая выездного лакея, открывал дверцу кареты, откидывал лесенку, помогал сойти и осторожно вел его, поддерживая за локоть, по ковровой дорожке, постеленной прямо на мокрый, смешанный с грязью снег. «7 декабря. Ныне 5-е представление, — записал он в дневнике, — все места заняты. За них в кассе дерутся. Я был за кулисами... Смех был страшный. В партере и ложах хохотали до упаду. Интерес публики идет в гору, все противоречия и критики исчезли».

Противоречия... Они не могли исчезнуть из его жизни — они составляли суть его жизни, из них была соткана его судьба.

Десять дней фантастического успеха, почета и всеобщего преклонения перед его блистательным пером — и первое противоречие дало о себе знать, повергнув его в отчаяние и уныние.

Девятого декабря, в день шестого представления «Свадьбы Кречинского», он получил в конверте официальное приглашение на квартиру своей сестры графини Салиас де Турнемир, где собирался ее салон — литературный салон писательницы Евгении Тур. В этот день кроме обычных посетителей к графине был приглашен Евгений Корш, театральный салон которого был знаменит на весь город; словом, намечалось нечто вроде совместного заседания двух самых влиятельных салонов Москвы. Александр Васильевич и раньше бывал на литературных вечерах у сестры, знал многих посетителей ее салона — но они смотрели на него как на чело-

века постороннего. Теперь он был литератором, и притом знаменитым, ибо, вспоминал Боборыкин, «комедия Сухово-Кобылина сразу выдвинула автора в первый ряд тогдашних писателей».

Он ехал на вечер в приподнятом настроении, был слегка возбужден: только что закончился спектакль, и снова вызывали автора, и в зале еще стоял несмолкаемый грохот аплодисментов, когда он сел в карету. Он готов был услышать в салоне всё что угодно — критику, возгласы похвалы, поздравления, профессиональные мнения и суждения, скептические замечания и даже наставления — «хоть черта в ступе, теперь всё равно!». Веселый и бодрый с мороза, он вошел, приветливо улыбаясь всем, в гостиную, густо уставленную вазами, увешанную картинами и бархатными порттьерами. Через минуту глаза его были наполнены ядом и злобно прищурены... Холодные лица, сухие небрежные кивки, демонстративно повернутые к нему затылки и спины — его усиленно не замечали. Так было задумано. Его пригласили только затем, чтобы... оскорбить надменным молчанием. Александр Васильевич тогда еще был слишком неискушен в литературной закулисной жизни и не знал этой особой формы «чествования» собратьев — тех, которые нежданно-негаданно, выскочив ниоткуда, вдруг возносятся над тягучей салонной скукой на крыльях удачи. Он был удивлен и растерян:

«Литературный кружок ведет себя странно. Тут было не менее двенадцати литераторов и ученых. И ни один ни слова о моей пиэссе. Странно. И это в то время, когда в Москве дерутся у кассы и записываются за два и за три представления вперед... Я так стал уединен, что у меня до такой степени нет ни друзей, ни партизанов (то есть приверженцев,

сторонников. — *В. О.*), что не только не нашлось и человека, который захотел бы заявить громадный успех пиэссы, но даже никто не пожал мне радушно руки. Я стою один-один».

Это чувство одиночества в литературе переродилось позднее в чувство ненависти к «литературному цеху».

Цех отвернулся от него.

Но зато... «В гимнастике приняли отлично — кричали ура».

Старые товарищи — повесы и донжуаны, фехтовальщики, кутилы и игроки — качали его на руках, стреляли в его честь шампанским и хвалили напропалую: «Друцкой — выразился наконец, как я хотел: “Всё прекрасно — характеры, форма”. Чайковский — что такого разговорного языка еще у нас на сцене не было. Что публика в восхищении, что есть люди, которые обещались видеть пиэссу всякий раз, как будут ее играть; что это явление необыкновенное в нашей литературе, какого уже 15 лет не было со времен “Ревизора”».

Противоречия были разительные.

Но не было в его жизни дня более странного и противоречивого, чем день седьмого представления пьесы — 11 декабря 1855 года. Бесчестье и слава. Оба лика его судьбы явились ему разом. И он ужаснулся, когда и в том и в другом узнал своего незрячего поводыря...

Он был еще в постели, в плену летучих видений утреннего сна, и только слуги, под присмотром камердинера готовившие столовую к завтраку, нарушали дремотную тишину осторожным звоном тарелок, когда по широким чугунным ступеням парадного крыльца всходила замедленным шагом стройная процессия. Впереди, в длинном черном

пальто поверх рясы, высоко подняв голову и держа перед собой запечатанный сургучом конверт, выступал пожилой, но довольно бодрый на вид священник с красным тугим лицом в сиреневых прожилках, обрамленным небольшой округлой бородой; за ним следовало несколько чиновников в пестрых шубах и с толстыми папками под мышками; затем — полицейские чины разного достоинства, но все с одинаково поднятыми воротниками; замыкал процессию квартальный поручик с двумя жандармами при саблях.

— Барин! Александр Васильевич! — испуганно шептал камердинер, мягко, но настойчиво толкая его в плечо. — Вставайте... за вами пришли... священник, полиция!

— Что?.. А?.. Куда? В тюрьму?!

— Не знаю, батюшка! Помилуйте дурака... Они все там, в гостиной, требуют вас!

Через полчаса, наскоро умытый и одетый камердинером, он резким движением распахнул двустворчатую дверь и быстрыми шагами вышел в гостиную. Вся делегация поднялась со стульев и кресел. Александр Васильевич окинул всех беглым взглядом — узнал старика в рясе, который уже надел сверкающие круглые очки и осторожно распечатывал конверт. Это был отец Иоанн, в миру Георгий Соколов, священник Московской епархии, участвовавший в работе следственных комиссий по делам дворян и исполнявший особые предписания Сената и надворного суда. Александр Васильевич на полушаге остановился посреди гостиной и заложил за спину левую руку, как будто изготовился фехтовать.

— Чему обязан, господа? — сухо проговорил он.

— Господин э... отставной титулярный советник... извольте выслушать определение Правитель-

ствующего сената от одиннадцатого ноября сего года по делу об убийстве э... купчихи Луизы Симон-Деманш, а также постановление по этому делу духовного начальства Московской епархии.

Чиновник отошел назад и, смиренно склонив голову, произнес:

— Читайте, батюшка.

Соколов начал читать, и по мере того как слова — слитно, без единой паузы — струились в его бороду, лицо Александра Васильевича мрачнело и бледнело. Его глаза неподвижно глядели мимо священника; под скулами вздрагивали желваки.

— Рассмотрев на заседании 11 ноября 1855 года дело об убийстве московской купчихи Луизы Ивановны Симон-Деманш, — зачитывал отец Иоанн, — Правительствующий сенат, учитывая обстоятельства, расследованные Особой Чрезвычайной и Высочайше Утвержденной следственной комиссией, нашел необходимым дать по этому делу определение для дальнейшего его прохождения по всем инстанциям, коим предписывается руководствоваться в своих действиях настоящим решением Сената, а именно:

1. Отставного титулярного советника Сухово-Кобылина по предмету участия в убийстве Деманш и подговора для сокрытия сего преступления своих дворовых людей принять убийство Деманш на себя — оставить в подозрении.

2. За злободневную связь Сухово-Кобылина с Симон-Деманш, продолжавшуюся около восьми лет и разорвавшуюся жестоким смертоубийством, события которого наводят подозрение на самого Сухово-Кобылина в совершении преступления с его ведома и при его участии, подвергнуть его строгому церковному покаянию для очищения со-

вести и по усмотрению духовного епархиального начальства.

Закончив с этой бумагой, отец Иоанн зачитал постановление Московской епархии, в котором предписывалось произвести процедуру церковного покаяния 11 декабря 1855 года в церкви Воскресения на Успенском Вражке во время утренней службы в присутствии уполномоченных чиновных лиц Московского надворного суда, уголовной палаты и Правительствующего сената.

Александр Васильевичу вручили копии решений и попросили поторопиться со сборами. Вся делегация вышла на улицу, кроме квартального поручика с жандармами, которые остались в прихожей и стояли в дверях с обнаженными саблями.

Александр Васильевич еще с минуту, не двигаясь с места, стоял посреди гостиной, держа в руках листы, просвеченные лучами морозного зимнего солнца, смотревшего в окна:

«Верить ли глазам — так сбывается непостижимейшее и невозможнейшее в жизни, два великих события рядом: одно неожиданно-негаданно дает венок лавровый, другое бесчеловечною рукою надевает на голову терновый и говорит *Ecce Homo*\*. Что я вытерпел! Что пережил! Или страшно много во мне силы? Куда ведет судьба, не знаю. Странная судьба, или она слепая, или в ней высокий, сокрытый от нас разум. Сквозь двери сырой сибирки, сквозь Воскресенские ворота привела она меня на

---

\* Се человек (*лат.*). Согласно Евангелию от Иоанна (Ин. 19:5) с этими словами прокуратор Иудеи Понтий Пилат показал жителям Иерусалима Иисуса Христа после бичевания, увенчанного терновым венцом, желая возбудить к нему сострадание толпы. (*Прим. ред.*)

сцену Московского театра и, протащив по грязи, поставила вдруг прямо и торжественно супротив того самого люда, который ругался мне и, как Пилат, связавши руки назад, бил по ланитам. Теперь далее ведет судьба — публичному позору и клеймению предаёт честное имя, и я покорен тебе, судьба, — веди меня, я не робею, не дрогну — не дрогну, даже если и не верю в твой разум, но начинаю ему верить. Веди меня, Великий Слепец — судьба».

В 11 часов утра в Брюсовом переулке, в двух шагах от дома графа Гудовича, где восемь лет, сохраняя в сердце любовь и преданность, жила француженка Деманш, при огромном стечении народа, который толпами осаждал церковь Воскресения на Успенском Вражке, состоялась церемония публичного церковного покаяния отставного титулярного советника Александра Васильевича Сухово-Кобылина.

Вечером того же дня с величайшим триумфом, какого еще не знала русская сцена, прошло седьмое представление «Свадьбы Кречинского». Драматург, несколько часов назад стоявший на коленях перед иконами под строгими взглядами чиновников и полицейских, присутствовал в театре. Он сидел слева, в литературной ложе, куда устремила взоры, встав со своих мест, вся публика после окончания спектакля. И в течение получаса, сотрясая стены Малого театра криками «Браво, Кобылин!!», она стояла с поднятыми лицами. Все восторженно смотрели в его сторону. Он не поднимался с кресла. В сумраке не было видно лица, и только фамильные бриллианты сверкали на белом атласном галстуке, светившемся в глубине ложи...

«Вечером был в театре, — записал он, вернувшись домой. — 7-е представление. Всё полно... Иг-  
рали отлично, актеры все сыгрались. Шумский так-  
же пошел — наконец ожил. Садовский также. Театр  
вполне понял пиэссу и судорожно вздрагивает от  
сдерживаемых рукоплесканий. Полный, полный  
успех! Фурор!! Итак, утром бесчестье, вечером сла-  
ва. Переход резкий — странная, странная судьба!»

Литературная критика была озадачена гранди-  
озным успехом пьесы автора, впервые заявившего о  
себе в литературе. До 17 декабря, кроме небольшо-  
го отчета о премьере и нескольких заметок о беспор-  
ядках у кассы Малого театра, о спектакле ничего  
не писали. Молчание нарушили «Санкт-Петербур-  
гские ведомости».

Утром 18 декабря Александр Васильевич при-  
мчался на квартиру к Шумскому возбужденный,  
злой, удивленный. Он расхаживал по комнате и,  
потрясая в воздухе газетными листами, восклицал:

— Вот! Вот! Вышла рецензия на мою пиэссу! Ка-  
кого-то глупого и бестолкового господина! Здесь всё  
видно: литературный цех, с одной стороны, поражен  
пиэссой, а с другой стороны, никак не хочет очис-  
тить ей прочное место в литературе и дать мне право  
почетного гражданина... Ничего — я сам его возьму!

Рецензия была огромная — на четыре газетные  
страницы! То комкая их, то снова расправляя,  
Александр Васильевич зачитывал Шумскому вы-  
держки, беспрестанно повторяя:

— Что это такое, а? Путаница, беспоследова-  
тельность, бестолковщина!

Московский корреспондент «Санкт-Петербур-  
гских ведомостей» писал:



«Перед первым представлением комедии г. Сухово-Кобылина о ней так много кричали, что она так много возбудила толков еще прежде постановки ее на сцене. Правда, в ответ на восторженные похвалы некоторых многие недоверчиво качали головой, но это еще более разжигало желание скорее разрешить всех занимавший вопрос. Стану говорить о моих личных впечатлениях. Может быть, оттого, что я, на основании всех этих критиков и похвал, ожидал чего-то необыкновенного, только я вышел из театра разочарованный...»

— Представляешь?! Разочарованный!.. Но слушай дальше, Шумский!

«...Мне показалась “Свадьба Кречинского” неудовлетворительной и по плану, и по содержанию, и по характерам, и по подробностям. И даже по идее...»

— Нет, ты только вообрази: «и даже по идее»! Подавай господину литератору идею, и всё тут! Но смотри, Сергей Васильевич, каким снисходительным манером он меня хвалит:

«...Мне тем более неприятно было сознаваться в этом, что комедия носит на себе признаки несовершенного дарования, что в ней много ума, чувства и благородных стремлений. Во всяком случае, комедия г. Сухово-Кобылина явление утешительное, потому что она стоит неизмеримо выше всего, что только давалось на нашей сцене в этот сезон, она сверх того вывела нас из этого наводнения так называемых народных драм, которые, правду сказать, порядочно всем надоели...»

— Так в чем же моя вина, дорогой Шумский? Да в том, что я не соответствую фантазии, которую взял себе в голову этот господин! Он, видишь ли, приписывает мне какую-то цель, о которой я и духом не ведал!

«...Цель “Свадьбы Кречинского” разоблачать во всей полноте тех господ, которые в свете пользуются незаслуженным почетом, с которыми дружны все первостепенные столичные львы и которые, в то же время, не что иное как пустейшие люди, а иногда и просто мошенники...»

— Разоблачать! Казнить! Выводить на чистую воду! Что это? А? Драматург я или следственных дел стряпчий?.. Но слушай, каковы его рассуждения...

«...Превосходно задумав личность Кречинского, г. Сухово-Кобылин, к сожалению, сбился в ходе своей комедии на героя французских драм школы В. Гюго. В высшем свете много таких юношей, которые положительно живут на чужой счет: занимают без отдачи у богатых своих приятелей, занимают у одного ростовщика, чтоб заплатить другому... В этих людях совершенное отсутствие благородства: одна только мысль руководит ими — наслаждаться так, как только наслаждается богачейший и блистательнейший из столичных львов, — и всё это на чужой счет, без рубля в кармане, который достался бы по наследству или добыт был трудом. Такие люди, повторяем, есть, и казнить их значило бы казнить один из общественных недостатков, в чем и заключается назначение высокой комедии, не фарса и не водевиля. В “Свадьбе Кречинского” во всем первом действии и в начале второго очевидны задатки именно такой личности. Но шулерство с булавкой не составляет, однако, общественного недостатка. Это свойство одной исключительной личности... Исключительные личности всегда избираются французскими драматургами в герои их эффектных и несколько пустоватых созданий, тогда как мы, русские, ищем чего-нибудь посерьезнее и всегда стараемся осветить нашими поэтическими

произведениями полезную идею, согреть их теплым чувством\*. Тем не менее автор хочет нарисовать картину московского и притом современного общества, но это у него не вышло. Вот почему я сказал, что автор задумал одно, а сбился на другое. Жаль, очень жаль, что г. Сухово-Кобылин выбрал в герои не того, кого следовало бы выбрать...»

— Ах, какой же я дурак! — восклицал Александр Васильевич. — Я должен был сначала справиться в «Санкт-Петербургских ведомостях», кого мне выбирать в герои!!

А между тем дальнейшие рассуждения критика были довольно неожиданными и расставляли все точки над «і»...

«...Если оставить в стороне все эти требования, которым не может удовлетворить новая комедия, то окажется неизбежно, что характер Кречинского, в той идее, какую составил себе о нем автор, выполнен прекрасно. Эта непоколебимая воля, это могучее влияние на всех близких, эта неустрашимость, это неуклонное стремление к предположенной цели, этот пыл и резкость, эта тонкая изворотливость ума, эта единственная страсть к игре, придающая смысл всей жизни, — все эти свойства принадлежат личности замечательной, грандиозной и в то же время живой и действительной. Кречинский во всем последователен, верен самому себе. Характер Расплюева также очень хорош, очень комически и тонко задуман, прекрасно выполнен. Отважность и трусость в одно и то же время, отсутствие всякого

---

\* Спустя 120 лет Леонид Гроссман, называвший Сухово-Кобылина «бескрылым драматургом», жаловался на то же самое: «Автор никуда не зовет нас, не указывает никаких светлых дорог к будущему, не открывает никаких путей к облегчению или исходу, не возносит по вертикали жизни».

нравственного чувства, готовность на всё черное, низость загрубелая — рядом с чувственностью и любовью к семье; умение подняться на самую тонкую мошенническую шутку — и тут же возмутительное тупоумие. Все остальные характеры очерчены пластически, и в них очень ярко проглядывают признаки замечательного драматического дарования г. Сухово-Кобылина. И дарование г. Сухово-Кобылина так велико, что в новой комедии есть места и сцены, выхваченные прямо из действительности и современного общества.

Кончу рецензию тем, чем начал: большое спасибо даровитому и умному автору “Свадьбы Кречинского” за то, что он вывел нас на свежий воздух из этого подземного мира образов г. Островского».

Вот так, начав за упокой, а кончив за здравие, резко противореча в суждениях и оценках самому себе, написал рецензию корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей».

Упоминание об Островском тогда несколько не затронуло Александра Васильевича. Позднее в литературной критике рубежа XIX—XX веков Островского и Сухово-Кобылина постоянно противопоставляли друг другу. И когда противопоставление было не в пользу Островского, Александру Васильевичу это нравилось, ибо его собственное отношение к Островскому было исполнено такого яростного неприятия, что даже имя драматурга он спокойно слышать не мог и всякий раз, когда при нем упоминали об Островском без отрицательных оценок, воспринимал это как оскорбление в свой адрес.

Когда же слава Островского стала неоспоримой, он как-то раз в разговоре со своим племянником Евгением Салиасом выразил изумление:

— Почему его ставят так высоко?! Везде у него идиоты приказчики и какие-то кисло-сладкие купеческие дочки!

В 1869 году, приехав из Кобылинки в Москву для переговоров с Катковым\* об издании своей драматической трилогии, он был поражен слухами о невероятном успехе «Горячего сердца» Островского, которое шло тогда в Малом театре. Пользуясь своим правом на бесплатное посещение всех театров Москвы и Петербурга, — заплатить в этом случае деньги за билет он считал бы для себя унижительным, — Александр Васильевич явился в Малый театр посмотреть пьесу. Впечатления он записал в дневнике:

«Тут не только все пьют и буянят, но и сам автор является грубейшим варваром. Дочь купца, будто забитая, которая любит приказчика и выходит по любви, — есть такое же отвратительное и ужасающее создание, как и сам отец. Публика аплодировала. Я с внутренним ужасом вышел из театра до конца представления».

— Для писателя необходимо быть не только остроумным, — говорил он в 1899 году в интервью «Новому времени», — но и занимательным, вот отчего Островский утомителен. На днях я прочел, что в бенефис Варламова\*\* многие зрители вставали во время пьесы и уходили из театра. Вот вам и хваленый автор!

---

\* *Михаил Никифорович Катков* (1818—1887) — известный публицист, издатель, критик, редактор газеты «Московские ведомости».

\*\* *Константин Александрович Варламов* (1848—1915) — крупнейший комический актер своего времени, с 1875 года служил в Александринском театре. Исполнял главные роли во многих пьесах Островского. В его бенефис, о котором идет речь, давалась пьеса «Правда — хорошо, а счастье — лучше».

Статьи об Островском Александр Васильевич всегда читал внимательно и однажды, после очередного хвалебного отзыва о пьесах конкурента, прямо-таки обиделся и съязвил в дневнике:

«Итак, я перед Островским пигмей!»

После статьи в «Санкт-Петербургских ведомостях» рецензии посыпались одна за другой. 20 декабря, когда шло уже десятое представление «Свадьбы Кречинского», спохватились «Московские ведомости».

«Вот уже более двух недель, — писал рецензент, — как новая пьеса, в первый раз исполненная в бенефис одного из лучших наших артистов, почти ежедневно привлекает в театр многочисленную публику. Пьеса эта производит впечатление, о ней говорят в обществе, и все отзывы очевидно клонятся в ее пользу. Чем же объясняется это общее внимание и одобрение? Нам кажется, что как сама комедия, так и исполнение ее на сцене соединяют в себе самые благоприятные условия для полного успеха. Многочисленные обыденные пьесы, не совсем искусно переводимые с французского, и пьесы доморощенного изделия, сшитые белыми нитками, наскучили публике... Комедия г. Сухово-Кобылина ведена логически, последовательно, положения действующих лиц естественны, характеры выдержаны, словом, пьеса вполне заслуживает название серьезного обдуманного произведения. Если присоединить к этому внешнюю отделку пьесы, обличающую в авторе сценический талант и чувство меры, столь необходимые в драме, то успех комедии становится понятным. По своему содержанию пьеса нельзя назвать комедией, она имеет трагический

характер. Герой пьесы Кречинский — лицо вовсе не комическое».

Последнее замечание было неожиданным и глубоким. Подобного суждения не встречалось ни в одном из отзывов на «Свадьбу Кречинского», которую критики в большинстве случаев оценивали как легкий фарс, пародию, забавную шутку, навеянную французскими водевилями Эжена Скриба или Жана Баяра. Но замечание это, сказанное мимоходом, тонуло в общем хоре журнально-газетных разнотолков:

— В пьесе с первого раза чувствуется недостаток того, что мы называем свободой творчества!

— Комедия г. Сухово-Кобылина гораздо дальше от жизни, от нашей действительности, чем все произведения новых драматических писателей.

— Герой ее — лицо далеко не новое на сцене: мы встречали его много раз в разных драматических положениях. Пьесе недостает идеи!

— Сюжет ее взят из общего всем народам сценического запаса.

— В комедии нет типов, одни характеры не вполне выражены, другие не вполне развиты, третьи не выдержаны, на сцене не чувствуется присутствия женщины.

— В пьесе чувствуются ловкая французская выкройка и французский склад ума. Вообще же язык комедии нравится своей ловкостью.

— Но зачем же непременно ценить новую комедию с точки зрения высшей художественности? Отчего не смотреть на нее проще, отчего не видеть в ней того, что она есть, — искусно задуманного и счастливо выполненного фарса?

— В пьесе дано слишком много места таким проделкам, которые скорее могут интересовать криминалистов.

Всю зиму 1856 года театральная Россия говорила о «Свадьбе Кречинского».

«У вас в Москве все похваляются какой-то комедией Сухово-Кобылина, — писал Некрасов в Москву неустановленному адресату. — Напиши мне, что это такое?»

Вести об успехе комедии привез в Петербург артист Александринского театра Федор Бурдин. Приехав из Москвы, где он смотрел премьеру и несколько последующих спектаклей, он тут же примчался в свой театр.

— Ну что «Свадьба Кречинского»? — спросил его Максимов.

— А то, что вы с Мартыновым опростоволосились совсем! Прав-то был я, пьеса имела громадный успех!

— Это еще ничего не доказывает, — возразил Мартынов. — В Москве может нравиться всякая галиматья. Мало ли было примеров — там имеет успех, а здесь провалится.

— Эта пьеса будет иметь большой успех везде! — настаивал Бурдин.

— Может быть, а я все-таки ее в бенефис не возьму и, какой бы штраф на меня ни наложили, играть в ней не буду!

«Оказывается, что эти петербургские актеры отказывались сначала играть мою пиэссу, — удивлялся Александр Васильевич в дневнике. — Но теперь ветер дует иначе».

Ветер подул иначе не сразу. Узнав о большом успехе пьесы в Москве, директор Императорских театров Гедеонов пожелал, чтобы она была немедленно поставлена в Петербурге. Он вызвал к себе Мартынова и предложил ему взять «Свадьбу Кречинского» в бенефис. Тот наотрез отказался, за-



явив, что он, как и Максимов, не поменял своего мнения об этом «каторжном сочинении».

— Ах так! — кричал Гедеонов, в бешенстве ударя ладонью по столу, заваленному рукописями пьес и прошениями. — В таком случае я ни тебе, ни Максиму никогда и ни за что не дам ролей в этой пьесе!

— Я только этого и добивался, — радовался Максимов, узнав о разговоре Мартынова с директором.

Сухово-Кобылин желал, чтобы роль Расплюева непременно исполнял Мартынов — «слава и гордость русской сцены». О Бурдине, который уже разучивал эту роль, он и слышать не хотел, опасаясь, что тот сыграет «хама-пропойцу».

Девятого апреля 1856 года Александр Васильевич приехал в Петербург и явился к Гедеонову в самом дурном настроении.

— Чего ты от меня хочешь?! — выкрикивал Гедеонов, поглядывая на позолоченный, в мелкий рубчик набалдашник трости Кобылина. — Я ничего не желаю слушать! Расплюева будет играть Бурдин!

— Но почему же? — со скрытой угрозой в голосе спрашивал Александр Васильевич.

— А потому, что я хочу наказать Мартынова за то, что он меня не послушал — взял в бенефис какую-то дрянь!

— Но так он уже и наказан.

— Нет, этого мало.

— Да это Мартынова дело, играть ему в моей пьесе или нет!

— Нисколько! Это дело дирекции. Дирекция столько же должна заботиться об обыкновенных представлениях, как и о бенефисах, — чтобы всё было отлично.

— Ну так вы и заботьтесь! А вы же хотите отдать роль Бурдину и рискнуть тут, в Петербурге, успехом представления.

— Нисколько. Бурдин исполнит эту роль хорошо.

— Да я и писал ее для Мартынова, черт побери!!

— Мартынову я роль не дам, потому что он сам отказался от роли, когда я его просил.

— Ах, отказался... отказался... Да какой же вы директор, если не можете заставить ваших подчиненных исполнять обязанности! Да вы тогда не директор, а просто навозная куча!!

— А?.. А?.. Да что ты, милостивый государь, считаешь меня за такого старика, который не может дать тебе удовлетворения?! На чем ты хочешь?! На пистолетах?! На саблях?! Хоть завтра!

Что-о-о-о?.. Сатисфакция... Какая? В чем? В чем, я вас спрашиваю? Вы хотите драться... Ха, ха, ха, ха... Я же дам вам в руки пистолет, и в меня же будете целить?.. Впрочем, с одним условием извольте: что на всякий ваш выстрел я плюну вам в глаза. Вот мои кондиции. Коли хотите, хоть завтра; а нынче...

*«Свадьба Кречинского»,  
действие третье, явление VI*

А нынче... Александр Васильевич хлопнул дверью и поехал к Адлербергу, чтобы через министра двора заставить Гедеонова подчиниться. Визит не прошел даром. «Гедеонов ломается, — записал Сухово-Кобылин в дневнике. — Однако сказал, что если Бурдин согласен отказаться от роли, то он противиться не будет».

Узнав, что всё дело зависит теперь от Бурдина, Александр Васильевич приехал к нему на квартиру.

— Господин актер, — заявил он с порога, — если вы не откажетесь от роли Расплюева в моей пьесе, то я приеду в театр на ваш бенефис и учиню скандал!

Бурдина это ничуть не смутило.

— Милостивый государь, — ответил он, — угрозы ваших не боюсь нисколько. Роль Расплюева не сыграю так плохо, чтобы возбудить неудовольствие публики. А из вашего обещания сделать мне скандал только извлеку пользу: назначу за места цену вдвое выше, зная, что публика с жадностью бросится на такой интересный спектакль — бенефис Бурдина со скандалом автора пьесы во время представления! А? Каково?

Крыть было нечем. Но Александр Васильевич не унимался. Он уговорил Адлерберга дать письменное распоряжение о распределении ролей:

«Гедеонов получил указание от министра Адлерберга. Он был взбешен, вздумал сказать мне дерзость. Я побледнел и подошел к нему с худыми намерениями. Он оробел, просил извинения, стал мягок и стоворчив, и дело наконец уладилось: роль отдана Мартынову».

Успокоившись, Сухово-Кобылин уехал в Москву. Но радость его была преждевременной:

«Я получил известие, что Мартынов отказался играть Расплюева. Очевидно, меня провел Гедеонов».

В отношении Александра Васильевича к Бурдину было много ничем не оправданного деспотизма. Только позднее он узнал, что именно Бурдину, которого он поносил в пылу своих споров с директором Гедеоновым, он был обязан тем, что первая же постановка «Свадьбы Кречинского» не была сорвана актерами, враждебно относившимися к его пьесе. За несколько дней до премьеры Бурдин узнал,

что Самойлов, назначенный на роль Кречинского, намеревался сказать больным в самый день премьеры и не явиться на спектакль. Бурдин помчался к Максиму, с которым состоял в дружеских отношениях, и стал умолять, чтобы тот публично объявил, что он будет в любом случае играть Кречинского и заменит, если надо, Самойлова. Максим согласился и объявил. И только тогда Самойлов вынужден был отказаться от своей затеи...

Премьера в Петербурге состоялась 7 мая 1856 года. Расплюева играл Бурдин, Кречинского — Самойлов, Нелькина — Максимов, Муромского — Григорьев, Лидочку — Владимирова.

Сухово-Кобылин приехал в Александринский театр, когда пьеса уже началась. Весь первый акт он был за кулисами. Следил за игрой внимательно и напряженно, всё замечал:

«Сцена с Тишкой вышла удачно, Муромского и Атуевой довольно посредственно, ибо оба старались. Роли Нелькина и Кречинского развеселили публику. Самойлов не знал роли. Первый акт прошел порядочно. Самойлова и Максимова вызывали. На второй акт я отправился в ложу. Вышел Бурдин — пошлее и гаже ничего быть не может. Я страдал. Второй акт прошел плохо — Бурдин разрушил всё здание и расшиб все орнаменты. Третий акт прошел хорошо. Явление Нелькина (Максимова) всё оживило. Выход Максимова удался, и он был вызван. Публика слушала с напряжением. Занавес зашумел, и раздался страшный гром рукоплесканий. Дружнее и громче, чем в Москве. Меня вызывали. Директор послал искать меня по всему театру, но я загодя уже объявил режиссеру, что не выхожу к публике. Вызывали всех артистов, даже Бурдина».

Премьера «Свадьбы Кречинского» в Северной столице, так же как и в Москве, стала сенсацией. Представления пошли одно за другим. Весь репертуар Александринского театра был снят — давали только пьесу Сухова-Кобылина. Но и это не могло удовлетворить многочисленную публику, которая толпилась у кассы даже по ночам. Некрасов напечатал текст комедии в «Современнике». Театральные отделы петербургских газет и журналов, оставив на время все другие явления сцены, наперебой обсуждали новую пьесу.

Успех «Свадьбы Кречинского», как писала много лет спустя «Хроника петербургских театров» Вольфа, «был далеко не эфемерный». За 25 лет она выдержала только в Северной столице 100 представлений — больше, чем «Гроза» Островского (96 представлений), и немногим менее, чем «Горе от ума» (105 представлений).

---

---

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Да в вас нет ничего святого!

Вы человек иль демон?

— Я — Игрок!

М. Ю. Лермонтов. Маскарад

Вот уже полтора столетия правит Кречинский службу на театральных сценах мира. Тысячу раз заложен Беку фальшивый солитер. Тысячу раз сказано знаменитое: «Сорвалось». И публика, как и в дни блистательного триумфа Сухово-Кобылина, восторженно встречает эту комедию — в Токио, в Москве, в Париже...

«Нет сомнения, — писал Сухово-Кобылин из французского Больё-сюр-Мер редактору газеты «Новости дня» в день сорокалетия премьеры «Кречинского», — что из всех наград, которые счастливый драматург может себе желать, самая высшая и существенная награда есть эта усиливающаяся память, которая в своей абсолютной форме есть уже вечная память, то есть бессмертие. Память эта исходит за пределы людских, скоротечных и — скажу при моих 80 годах — почти мгновенных существований. Строки эти пишу я из моего уединенного и далекого Гнезда — и это уединение, и эта Даль дают еще большую теплоту моей благодарности всем тем

людям, которые так любезно почтили память Кречинского и пожелали ему долгих дней».

Критики-современники называли Кречинского «пустым человеком», «пройдохой», «отъявленным негодяем», «грязным шулером». Автор был другого мнения о своем герое.

— По моим представлениям, Кречинский не обыкновенный плут или мазурик, — говорил Сухово-Кобылин в 1894 году. — Он — страстная натура, игрок, легкомысленный прожигатель денег, для добывания которых не стесняется средствами, пока последние составляют тайну, но раз его карты открыты, свадьба сорвалась, впереди ждет позор, может быть, уголовное дело и уж наверное сидение за долги — в Кречинском может проснуться благородство, он может предпочесть смерть позору и бедности.

Уже после смерти драматурга, в некрологе, помещенном в газете «Русское слово», литературный критик Сергей Яблоновский высказал довольно вызывающее суждение о главных героях комедии, карточных игроках Кречинском и Расплюеве:

«Автор такую властью, которая идет только от Бога, создал два образа. Казалось бы, что в них? Оба мошенники. Один побольше, другой поменьше, что они нам? Почему мы должны останавливать на них свое внимание, да останавливать не на минуты, а на многие и многие десятилетия, может быть, даже на столетия? Почему вы, честный и порядочный человек, и в глаза никогда не видевший шулеров, почему вы с таким участием — да, участием, я утверждаю это — следите за треволнениями Кречинского, почему вы ловите себя на том, что вам словно хочется, чтобы Нелькин опоздал, чтобы Кречинский успел вынырнуть? Почему Расплюев

вам родной? А ведь он, несмотря на всю свою вопиющую пакостность, вам родной? А потому, что автор возвел их — пользуясь чудесным выражением Гоголя — в перл создания».

Этот вопрос — почему? — можно, конечно, поставить шире. Почему возводились в «перл создания» игроки всех масштабов — от скромного карточного шулера Ихарева, любовно выписанного Гоголем в «Игроках», до таких трагических фигур, как пушкинский Германн и лермонтовский Арбенин? Почему игра так разносторонне изображалась русскими писателями?

Один из ответов на этот вопрос состоит в том, что русскую литературу, яростно ценившую всякую искру подлинности, игра привлекала как неизбежная противоположность подлинности, как высшее и крайнее выражение иллюзорности жизни: игра, шагнувшая за пределы рулетки, ломберного столика и лавки ростовщика; игра, проникшая в чувства и побуждения; игра, дающая сильные ощущения, иллюзию подлинных радостей и полноты существования; игра, возведенная в принцип жизни и поставленная в основе всех проявлений бытия. Не случайно в лермонтовском «Маскараде» звучат слова:

Что ни толкуй Вольтер — или Декарт,  
Мир для меня — колода карт,  
Жизнь — банк: рок мечет, я играю.  
И правила игры я к людям применяю.

Правила игры, примененные к людям, — вот нерв и суть того драматического явления, которое отразилось в произведениях русской классической литературы об игре. Всепоглощающая Игра. Все прочие игры — с применением фигурок, фишек, костей, жетонов — ее зримые воплощения, облада-



ющие подчеркнутой яркостью и сообщающие игроку столь же яркие чувства.

— Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества — не знаю, как выразиться, — говорит Алексей Иванович, персонаж Достоевского, припоминая знаменательную ночь своего фантастического выигрыша.

Ослепляющее отчаяние, лихорадочная радость, упоение властью над поверженным партнером (а партнер — любой человек, с кем игрок вступает в отношения), холод и трепет сердца, прилив и отлив ощущений — всё это мимолетно, без прочности и глубины, но сильнее и ярче, чем будничное чувство действительной жизни. Оттого и образ игрока так впечатляет, оттого в его внешности так резко выражаются и страсть, и торжество, и презрение, и оскорбленное самолюбие, и ледяное спокойствие. А власть его над собой и над людьми потому так сильна, что совладать с фиктивными чувствами, несомненно, легче. В этих-то особенных чувствах, искусственно вызванных игрой и потому подчиненных уму, невозмутимому генералу на полигоне переживаний, и упражняется дерзкий старатель:

Тут, тут сквозь душу переходит  
Страстей и ощущений тьма,  
И часто мысль гигантская заводит  
Пружину пылкого ума...  
И если победишь противника уменьем,  
Судьбу заставишь пасть к ногам твоим с смиреньем —  
Тогда и сам Наполеон  
Тебе покажется и жалок и смешон.

Такие слова изрекает гордый игрок Арбенин из «Маскарада». Но вот и «пакостный» Расплюев рассуждает в том же духе о Кречинском, восхищаясь его умом:

— Наполеон, говорю, Наполеон! Великий богатырь, маг и волшебник. Вот объехал так объехал; оболванил человека на веки вечные.

— Нет, ум великая вещь, — уверяет гоголевский Ихарев, — я смотрю на жизнь с совершенно другой точки зрения. Этак прожить и дурак проживет, это не штука; но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обмануту самому — вот настоящая задача и цель!

— Всё — ум, везде — ум! — восклицает Кречинский. — В свете — ум, в любви — ум, в игре — ум! В краже — ум!.. Да, да! вот оно: вот и философия явилась.

Всё подвластно уму игрока. Как маг, вызывает он к жизни из пустот, испепеленных игрой, и любовь, и страсть, и вожделение, на деле не являющиеся таковыми.

Вот пишет Германн Лизавете любовные письма. «В них, — говорит Пушкин, — выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения», — но замечает: «Эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование, всё это было не любовь! Деньги — вот чего алкала его душа!»

— Я весь тут, весь по горло: денег, просто денег, — говорит Кречинский. И тоже пишет Лидочке. «Надо такое письмо написать, чтобы страсть была. Ведь страсть вызывает страсть. Ах, страсть, где она? Моя страсть, моя любовь... в истопленной печи дров ишу. А надо, непременно надо... Мой тихий ангел... милый... милый сердцу уголок семьи... нежное созвездие... черт знает какого вздору!..»

— В комедии не чувствуется присутствия женщины, — сокрушались критики «Свадьбы Кречинского».

Что женщина для игрока? Пролог к заветным трем картам, мелкая ставка перед крупной игрой ва-банк, фишка на «чет» или «нечет» перед тем, как двинуть на «зеро».

— Глупый тур вальса завязывает самое пошлейшее волокитство, — рассуждает Кречинский. — Дело ведено лихо: вчера дано слово, и через десять дней я женат! Делаю, что называется, отличную партию! У меня дом, положение в свете, друзей и поклонников куча. Да что и говорить! Игра-то какая, игра-то!

— Любим был часто пламенно и страстно, / И ни одну из них я не любил, — признаётся Арбенин.

Но вот и гоголевский Ихарев, будто в насмешку, дал своей крапленой колоде женское имя — Аделаида Ивановна...

Игроку не чуждо благородство. Не только то холодное и беспощадное благородство, которым он владеет безупречно как неким оружием для обороны или для нападения на недоверчивого партнера, пытающегося разгадать его «темные замыслы» или попросту заглянуть под его манжетку в поисках пятого туза, но и благородство подлинное. Об этом говорил и сам Сухово-Кобылин, об этом свидетельствует и письмо Кречинского Муромскому, исполненное искреннего стремления выручить наивного отца семейства, пострадавшего из-за него, подать ему совет, хотя и основанный на циничном опыте игрока, постигшего механику крючкотворства:

«Вчера сделано мне предложение учинить некоторые показания касательно чести вашей дочери. Вы удивитесь; но представьте себе, что я не согласился... Что делать? У всякого своя логика; своей я не защищаю...»

Разумеется, «отъявленный негодяй» и «грязный шулер» так не поступает. На воровство, как и на подлость, Кречинский не способен. «Понял... Понял... — размышляет он о Расплюеве, отослав того за булавкой к Лидочке. — Ничего, дурак, не понял. Он думает, что я красть хочу, что я вор. Нет, брат: мы еще честью дорожим».

Каким страданиям земным  
на жертву грудь моя ни предавалась,  
А я всё жив... я счастья желал...

Это желание, о котором говорит в «Маскараде» Арбенин, присуще всем игрокам. Они мечтают составить себе счастье в жизни по правилам игры, уповая на некое автономное, не принадлежащее небесам, самосушее чудо, разлитое, наподобие мировой воли, повсюду, таящееся везде — хотя бы и в лавке ростовщика, или в раскладе карточных фигур, или в цифрах на колесе рулетки. И весь трагизм положения игроков — в этом противоречии между пылкой жадной счастья, славы, достоинства и ничтожностью, призрачностью средств, употребляемых для их достижения.

Бредит тремя картами Германн: «Ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото...»

Горит, накаленный воображением, блистательный ум Кречинского, и череда лучезарных призраков влечет замороженный взгляд:

— У меня в руках тысяча пятьсот душ — и ведь это полтора миллиона, и двести тысяч чистейшего капитала. Ведь на эту сумму можно выиграть два миллиона! И выиграю, выиграю наверняка; состав-

лю себе дьявольское состояние, и кончено; покой, дом, дура-жена и тихая почетная старость.

Тешит себя безумной верой в эфемерного бога — «один оборот колеса» рулетки, который «всё изменит», — Алексей Иванович, жаждущий «воскреснуть из мертвых» ценой удачной ставки на красное или черное:

— У меня теперь пятнадцать луидоров, а я начал и с пятнадцатью гульденами!.. Что я теперь? *Zero*. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе, пока он еще не пропал!

Предается нежным мечтаниям о будущем счастье Ихарев, лаская «Аделаиду Ивановну», крапленую колоду-труженицу:

— Легко сказать, до сих пор рябит в глазах проклятый крап. Но ведь зато... ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство! Вот она, заповедная колодушка — просто перл!.. Послужика ты мне, душенька... выиграй мне 80 тысяч, так я тебе, приехавши в деревню, мраморный памятник поставлю; в Москве закажу.

Но чудо невозможно. Бог отсутствует в фишках маленьких игр и в бурлении искусственных страстей. Рушатся неизбежно сложные построения, введенные на хрупких опорах. Три карты Германна, крапленая колода Ихарева, фальшивый бриллиант Кречинского... Роковые атрибуты игры. Причины фатальной гибели героев. И вопль Кречинского под стук полиции в дверь возвещает о недостижимости счастья для игрока, о трагической невозможности соединить игру с жизнью: «Сорвалось!!» Бриллианты и страсти должны быть подлинными.

Не игру в картишки, конечно, но самоубийственную *игру в жизнь* возвел Кобылин «в перл созда-

ния». Оттого и не сделал он Кречинского ни вором, ни подлецом. Но ему самому, именно ему, создавшему блестящий образ игрока, судьба уготовила обвинения пострашнее сенатских. Журналисты, мемуаристы, литературоведы разных эпох азартно обвиняли его в том, что он, словно расчетливый и бездушный игрок, актерствовал и лгал полвека — в дневниках, в письмах, в произведениях; что он превратил свою 86-летнюю жизнь в чудовищную игру, в страшный театр... Для кого? Для себя самого, для родных, для близких... Для грядущих исследователей, которые станут разбирать архивные «единицы хранения» — сокровенные писания Александра Васильевича Сухово-Кобылина...

---

---

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

*Этот мир весь рушится  
или, лучше, уже разрушился — и  
меня качает. Я этой качки вы-  
носить не могу и в то же время  
сам не знаю, куда идти...*

Дневник А. В. Сухово-  
Кобылина

На одном из представлений «Свадьбы Кречинского» в Александринском театре в ложу к автору во время антракта зашел молодой человек в мундире чиновника Министерства юстиции.

— Господин Сухово-Кобылин?

— Да... С кем имею честь?

— Это неважно... Вот конверт, распечатайте его при мне и прочтите... и... вы можете передать со мной устный ответ.

Александр Васильевич разломил сургуч и вытащил из конверта свернутую вчетверо записку. Слова были написаны с изящными завитушками, тонко отточенным пером:

«Милостивый государь,

мне стало известно, что Вы находитесь в Петербурге (вопреки данной Вами подписке о невыезде — но я, вслед за графом Закревским, закрываю на это глаза), а посему думаю, что у Вас, несмотря на всю Вашу занятость делами российской сцены, найдется время, чтоб заглянуть на часок ко мне для

разговора по Вашему другому, давно уже затянувшись делу, кое требует неотлагательного решения. Я готов Вас принять от трех до пяти часов пополудни. Сообщите подателю сего, соблаговолите ли Вы явиться и какого дня мне Вас ждать. За сим честь имею поздравить Вас с шумным успехом Вашей комедии и пожелать Вам новых побед на поприще изящной словесности, ко-его и я,

Министр Юстиции граф Панин,  
считаю себя не чуждым.

Мая 11 с. г.».

Александр Васильевич несколько раз перечитал записку, убрал ее в карман и, подыгрывая таинственности, которую напускал на себя молодой чиновник, поманил его пальцем, подмигнул ему с заговорщицким видом, жестом принудил его нагнуться, и когда тот подставил ему покрасневшее от волнения ухо, проговорил так громко, что было слышно в соседних ложах:

— Передайте графу, что я буду завтра!

Чиновник быстро выскочил из ложи, споткнувшись на ступеньках.

Попугаи в кабинете Панина настороженно притихли и, поворачивая хохлатые головки, внимательно рассматривали гостя. А гость тем временем рассматривал их сановного хозяина: «Он очень высок ростом, сутуловат, дурно сложен. Лицо холодное, умное — глаза серые, круглые — нижняя губа несколько выдавшаяся вперед. Голос медленный и беззвучный. Вообще натура холодная, несколько английская, но не без доброты. Движений сердца нет, но служитель правды, как ее сам поймет».



Правду граф Панин понимал своеобразно. Он не верил в наивную глупость, что правда может торжествовать сама собой, и потому в своем ведомстве давал взятки чиновникам по собственным своим делам, полагая, что теплое обворожительное сияние казначейских билетов несколько не затмит правду, а только украсит ее радужным нимбом и сделает просто правду *святой правдой*.

— Господин... э... господин... Не знаю даже, как мне теперь называть вас. Господин сочинитель, что ли?.. Ну, словом, Александр Васильевич, милостивый государь. Я очень рад, что вы вняли моей просьбе и явились ко мне, так сказать, в блеске всей вашей славы. М-да.. Но только зачем же вы так неаккуратно подшутили над моим курьером?

— Виноват, граф, это театр... заражает игрой...

— Ладно, ладно... Театр! Бог с ним совсем. Поговорим о вашем деле... Дело об убийстве московской купчихи Луизы Ивановны Симон-Деманш — так, кажется, оно называется?

— Вам виднее, ваше высокопревосходительство.

— Виднее... виднее... Мне видно вот что. У вас есть сильные покровители. И... я рад за вас. Великая княгиня Мария Николаевна... — Панин сделал паузу и быстро взглянул на Александра Васильевича, — ...изволила проявить большое участие к вам. Я имел честь беседовать с ней, и она склоняется к тому, чтобы вы были освобождены от суда.

Посетитель молчал. Панин смотрел на него выжидающе.

— Но это еще не всё, — продолжил он мягко и вкрадчиво, как будто уговаривал Александра Васильевича продать рысака по сходной цене. — Сама императрица прислала мне письмо с приказанием, чтобы дело было закончено, и оно будет закончено,

и чтоб я принял во внимание подробности этого дела, и они будут приняты во внимание. Она пишет мне, что и государь желает благополучного для вас окончания дела. Что вы на это скажете?

— Я, право, не знаю, господин министр, для меня это неожиданное и счастливое благодеяние... но ваши убеждения...

— Что убеждения?.. Да, у меня есть свои убеждения. Сильные убеждения. Напрасно иногда думают противное. Но по долгу верноподданнической присяги я считаю себя обязанным прежде всего узнать взгляд государя императора. И если я узнаю, что государь смотрит на дело иначе, чем я, — я долгом считаю отступить от своих убеждений и действовать даже наперекор им. С тою и даже большей энергией, как если бы я руководствовался моими собственными убеждениями. Вам ясно теперь?

— Ясно, ваше высокопревосходительство.

Через две недели после этого разговора, 26 мая 1856 года, когда Александр Васильевич был уже в Москве, ему доставили на дом копию «Предложения» министра по делу об убийстве Деманш. «Г. Министр Юстиции, — гласил документ, — полагает: Титулярного Советника Александра Васильевича Сухово-Кобылина, а равно и дворовых людей Ефима Егорова, Галактиона Козмина, Пелагею Алексееву и Аграфену Кашкину от всякой ответственности по делу об убийстве Московской купчихи Луизы Ивановны Симон-Деманш оставить свободными».

Бумага эта не вызвала у Александра Васильевича радости:

«Оказывается, что и преступники равным образом оправдываются. Вот и решение!.. Весь день я им был поражен».

«Предложение» министра, однако же, не было принято всеми сенаторами, и дело ввиду их разногласия поступило — уже в который раз — в Общее собрание московских и петербургских департаментов Правительствующего сената, где рассматривалось всё лето и осень 1856 года, после чего еще ровно год кочевало по различным инстанциям, пока, наконец, Панин, убеждения которого имели особое свойство — удваивать его энергию в процессе своих метаморфоз, — не пустил в ход всю полноту своей власти.

Двадцать пятого октября 1857 года уголовное дело русского драматурга Александра Васильевича Сухова-Кобылина было закрыто.

Событие это не принесло ему ни облегчения, ни очищения. В глазах общества факт оправдания Сенатом дворовых людей выглядел гораздо весомее и красноречивее, чем факт оправдания («равным образом») самого Сухова-Кобылина. Это «обоюдострое» решение, которым закончилось сенсационное дело, еще больше укрепило общественное мнение в убеждении, что преступление совершили не крепостные, а именно их богатый барин. С этого момента репутация убийцы, ловко увернувшегося от наказания, преследовала его до конца дней. «Я готов был считать Кобылина непричастным к убийству м-ль Симон, — вспоминает Феокистов. — Впоследствии зародилось, однако, у меня сомнение главным образом по следующим соображениям: Кобылин не жалел денег, чтобы обелить себя. Он нашел сильных покровителей, его сестра Софья Васильевна получила доступ к великой княгине

Марии Николаевне, которая отнеслась очень сочувственно к несчастью, постигшему ее семью. Даже граф Закревский совершенно переменял свой взгляд на дело. Министерство юстиции прислало из Петербурга особых чиновников для переследования следствия — тем не менее, несмотря ни на какие старания и хлопоты, Кобылин отделался лишь тем, что одинаково и его, и людей его, которые служили м-ль Симон, оставили в сильном подозрении. Никто не оказывался виноват! Как же было не усомниться, что тяжкий грех остался на душе Кобылина».

Осенью 1857 года и всю зиму 1858-го Александр Васильевич избегал появляться в столицах. Он редко покидал даже пределы Чернского уезда Тульской губернии, где стояла на холмах у речки Плавицы, обдуваемая степными ветрами, его Кобылинка.

Первого апреля 1858 года вернулись в Чернь из серпуховской тюрьмы его дворовые. «Это известие, — записал он в дневнике, — привело меня в страшное положение, мне казалось, что я дышу тем же самым воздухом, который был у них в легких. Мое настроение — оставить имение и переселиться за границу. Я дал приказ, чтобы их не впускали в имение... Время ненастное — снег — я никуда не выходил».

Он думал теперь об одном — уехать во Францию. И ждал из земского суда документы на выезд за границу. 5 апреля документы пришли. А 7-го в три часа дня в канцелярии тульского губернатора Сухово-Кобылин получил свой паспорт, подписку о невыезде, конфискованные у него кинжалы и письма. Душа его ликовала:

«Вот она, Свобода! Приветствую тебя, Чудное создание, любовница моя неверная, но вечно ми-

лая любовница. Жизнь всю желаю — зачем только на моем сорок первом Году дала ты мне первый Поцелуй. — Смотри, как он теперь почти холоден — ласки мои не жгучи — зачем не явилась ты тогда, когда жаждал я тебя, как Елень на источницы водни\* — когда денно и ночью звал я тебя — разве затем, чтобы получить тебя ценою мучений и ценою трудового пота. Я бы еще более, еще вернее, еще крепче и долговечнее любил тебя. Может, это и так. Потому теперь еще глубже, интенсивнее, привязчивее люблю тебя. Теперь уж не променяю я тебя ни на какие блески, ни на какую внешность. Теперь я обручусь с тобою, Свобода, моя Свободушка, и клянусь по гроб быть тебе вечным слугою, рабом, другом, всем-всем, чем только дышит еще мое Сердце».

В конце апреля Сухово-Кобылин уехал во Францию. Он купил небольшое имение Гайрос на юге страны и всё лето занимался его обустройством. Часто приезжал в Париж навещать свою семилетнюю дочь Луизу. Франция дала ему то спокойствие духа, какое он уже испытал однажды, когда стены гауптвахты у Воскресенских ворот скрыли его от всего света. Теперь это спокойствие ему нужно было для того, чтобы закончить новую пьесу. У нее еще не было названия, и в своих дневниках он называл ее по имени героини — «Лидочка». Первые две сцены этой «нарождающейся новой комедии» он написал еще в 1856 году, вечером 31 августа, в Серпухове, где останавливался по дороге в Тулу. Работа продвигалась трудно. Он был поглощен возведением сахарного завода в Кобылинке. Писал урывками. Временами был очень доволен

---

\* Цитата из библейского псалма 41. (Прим. ред.)

собой, нахваливал набросанные сцены — но вдруг находили минуты бессилия, и он готов был уничтожить всё, что написал, уверял себя в дневнике, что «бросил пиэссу к черту». Он видел, что «эта Лидочка» совсем не то, что «Кречинский», что смех здесь злобный и мрачный, что сцены выступают подобием кошмарного сна. Кто поверит в эти страшные картины? Кто поймет их? Словно на шабаш собрал он здесь всю чиновничью нечисть, и ужели вызовет смех свистопляска этих демонов в мундирах и орденах? Нет, где уж тут смеяться и какая к черту комедия! Это всё что угодно, но только не комедия. А надобно писать *комедию*, чтобы явились в ней всем, кто надругался над ним, веселость и несокрушимость его духа; и писать ее так, как написан «Кречинский»! А это... это всё бросить и сжечь!

Но он не бросал и не сжигал. Являлся в Кобылинку какой-нибудь чиновник из уголовной палаты, приходила очередная бумага из суда, и он вспыхивал гневом:

— Нет, нет! Писать! Да так, чтобы волосы вставали дыбом — бить жестоким кнутом эту челядь!

И в такие минуты он записывал в дневнике: «От этой пиэссы я жду более, чем от Кречинского».

В день его сорокалетия, 17 сентября 1857 года, ему казалось, что он уже близок к завершению новой пьесы. Переступив черту четвертого десятка, он подводил итоги:

«Осеннее солнце всходило чисто и ясно и даже порядочно грело... Я его приветствовал *как мое Солнце*, ибо мне нынче Сорок лет!!!.. Сорок лет — весь человек тут. Он выдал всё из себя, что смог выдать, — он дал весь рост, цвел, отцвел, и его плоды начинают наливать. Нынешний Год — есть, впрочем, уже результат моей жизни... Мои две пиэссы

“Кречинский” и “Лидочка”. *Вот мой интеллектуальный результат.* Как нарочно, нынешний день я обделывал едва ли не лучшую сцену из всего, что я писал, именно: Сцену Муромского с высоким Лицом...»

Он уже несколько раз начинал «отделку набело» и помечал в дневнике, что «пиэсса кончена», но всякий раз, переписывая ее, вставлял новые сцены, переделывал старые, начинал всё заново. Покоя в душе не было. Написанное не удовлетворяло. Работать ежедневно не удавалось.

Во Франции было иначе. Он взял с собой все черновики и уже отделанные сцены — работал каждый вечер. Чувство полной свободы одухотворяло, давало уверенность и силу и в то же время... мешало. Какой-то нереальной, фантастической, совершенно невозможной в действительности казалась эта далекая, исполненная подлости, алчности и беспробудного идиотизма чиновничья Россия. Да неужели же они существуют — живут, ходят, садятся, встают, листают дела, перекладывают бумаги, едят, пьют, мечтают, испражняются — все эти Шерцы, Шмерцы, Тарелкины, Варравины, колеса, шкивы и шестерни российской бюрократии... Сон, сон... Фантазмагория, бред...

«Комедия» временами ему не нравилась: «1858. Сентября 22. Кончил 4-й акт и писал 5-й. Ум спит. Пиэсса кажется мне худою».

В октябре 1858 года, возвращаясь на пароходе в Россию, он вез с собой в багажном отделении винные котлы для спиртовых заводов, гидравлические прессы, насосы, центрифуги, машины для сахарных фабрик и всевозможные агротехнические приспособления, которых он накупил во Франции великое множество. В портфеле из жесткой корич-

невой кожи с двумя металлическими замками лежала рукопись, на титульном листе которой было выведено крупными буквами: «ДЕЛО». Так теперь называлась «Лидочка».

Он еще никому не читал новую пьесу. И первым, кто ее выслушал от начала до конца, был литературный критик и поэт Аполлон Григорьев. Александр Васильевич познакомился с ним на пароходе. Разговор конечно же сразу зашел о «Свадьбе Кречинского». Аполлон Александрович говорил долго и увлеченно, цитировал наизусть, восхищался, уверял Сухово-Кобылина, что эта комедия — гордость русской литературы, ставил ее в один ряд с «Ревизором» и «Горем от ума». Александр Васильевич, уже относившийся с предубеждением ко всем писателям, был удивлен такими оценками «Кречинского». «Первый литератор, отозвавшийся о нем хорошо как о литературном произведении», — записал он в дневнике.

Девятнадцатого октября, когда они спускались по трапу в серый студеной туман Петербурга, Сухово-Кобылин обмолвился:

— А ведь у меня есть новая пьесса... Черт знает что, а кажется, неудачная... Сам не знаю, что вышло.

— Что же вы молчали, дорогой Кобылин? С собою?

— Ну да... вот в этом портфеле.

— Сейчас же берем извозчика и едем в гостиницу!

— Это зачем же?

— Читать! Читать!

В этот день все его сомнения исчезли: «Вечером читал Григорьеву свою пьессу. Мы уселись в тихом номере гостиницы. Первое действие, отделанное почти вчистую, прошло хорошо и ему понравилось».



Дружеское свидание.

Королева Маргарита. Утро.

Акт 1<sup>й</sup>.

~~Акт 1<sup>й</sup> Маргарита~~

Акт 1<sup>й</sup> Маргарита 1<sup>я</sup> сцена. Вечер. Маргарита.

Акт 1<sup>й</sup>. В саду. Маргарита - сестра королевы.

Она говорит с ней о своем. Вечер. Маргарита

Маргарита говорит с ней о своем. Вечер. Маргарита

Маргарита говорит с ней о своем. Вечер. Маргарита

Маргарита говорит с ней о своем. Вечер. Маргарита

Маргарита говорит с ней о своем. Вечер. Маргарита

Маргарита говорит с ней о своем. Вечер. Маргарита

Акт 1<sup>й</sup>. Маргарита. В саду. Маргарита - сестра королевы.

Маргарита говорит с ней о своем. Вечер. Маргарита

Маргарита говорит с ней о своем. Вечер. Маргарита

Маргарита говорит с ней о своем. Вечер. Маргарита

Маргарита говорит с ней о своем. Вечер. Маргарита

Черновик пьесы «Дело»

Катастрофическая сцена поразила его страшно — он выразился, что произвела в нем нервную дрожь. Относительно эпилога, советовал его сократить и, сделавши вводную сцену, подвести к последней. Вообще же пьесса произвела тот эффект, который я ожидал. Стало, пьесса удалась!!! Он умолял меня писать и ругал машины, которые отвлекают меня в другую сторону».

Машины! Они теперь занимали его больше, чем пьесы. Вернувшись из Франции, он сделался едва ли не самым энергичным и прогрессивным промышленником России. Один за другим он возводил в своих имениях заводы — винокуренный, конный, свеклосахарный, лесопильный, спиртовой. Он не останавливался ни перед какими затратами — покупал какие-то «редчайшие в мире» ректификационные аппараты и пневматические мельницы, механические пилы и резаки, изготовленные «из лучшей в Европе» стали Зигерланда. Его управляющие чуть ли не каждый день толклись на станции Скуратово Московско-Курской железной дороги, встречая багажные вагоны с механизмами из Франции, Германии, Англии. С яростной увлеченностью он занимался агрономией, выписывал пачками научные журналы из Европы, читал их от корки до корки и прикладывал все новейшие заграничные изобретения «к нераспаханному и неразгаданному неустройству» наследственных земель, которые ему в изобилии были отпущены судьбой. На его выступления в Императорском русском техническом обществе съезжались именитые промышленники со всей России и аплодировали, подбрасывали вверх атласные цилиндры, когда он, гордо возвышаясь на трибуне, «с чисто апостольским жаром» расписывал преимущества изобретенного им в Ко-

былинке «способа прямого получения ректифицированного спирта из бражки». И этой бородатой, усатой и увесистой публике он кланялся с удовольствием, раздавая налево и направо, без всякой оплаты схемы своих аппаратов, которые могли в три года озолотить какого-нибудь уездного барина.

Чего ему хотелось?

Богатства? Успеха? Славы? Всё это было.

Хотелось ему другого. Того, чего лишилась душа в ту снежную, вьюжную ночь 1850 года. Покоя и счастья. Забвения боли. И работа, бешеная, кипучая и непрерывная, давала ему покой и забвение, из которых он жаждал выплавить этот хрупкий и светозарный металл — счастье... Всепоглощающая работа была для него спасительным и упоительным зельем, «пьянством», как ее называл великий и непризнанный им сосед — граф Лев Толстой.

— Я счастлив, когда читаю и работаю без передышки, — говорил Александр Васильевич в те годы.

И он был счастлив. Но только тогда, когда *без передышки*. Потому что отдыхать было страшнее всего. И когда однажды отец, строго соблюдавший все церковные праздники, упрекнул его в том, что он работает даже на Пасху, он вспыхнул и гневно огрызнулся:

— Я не признаю ни праздников, ни будней!

Каждый день он вставал в четыре утра, делал гимнастику, без которой не мог обходиться со времен сидения в тюрьме, затем одевался в пестрый бухарский халат, в мягкие татарские сапоги, подвизывал волосы тесьмой и шел в лес рубить сучья. А потом — в столярную мастерскую. Пилил, строгал, резал мебель для своего огромного мрачного дома в 30 комнат, «самой угрюмой архитектуры», напоминавшего, как пишет один из тульских поме-

щиков, «длинный сундук, в который кладут приданое купеческим невестам». Целый день до позднего вечера его французская фермерская коляска из дерева, похожая на складной стул, маячила то в поле, то у винокуренного завода, то у конюшен. Везде он поспевал. Налетал как буря. Бегал, горячился, ругался с управляющими, с крестьянами, с мастерами, вникал во все коммерческие бумаги, лазил по котлам, ремонтировал машины, руководил стройками, драил щеткой заводских жеребцов.

Если окрестным помещикам случалось заехать к нему в гости, он тут же вел их смотреть свое обширное хозяйство и, не обращая внимания на их унылые физиономии, забывая, что позвал их для сытного обеда и приятной беседы за чашкой кофе с сигарой, долго водил их по полям и заводам, с жаром говорил о новых машинах, беспрестанно повышал голос на рабочих, покрикивал на конюхов, везде показывал свою кипучую энергию. «Вместо фразистого литератора-ученого, насыщенного туманными идеями немецких философов, идеалиста и романтика, — удивлялся интервьюер, приехавший к нему для умной беседы, — я увидел перед собою самого обыкновенного русского помещика “средней руки”, у которого беды хозяйственные — самые большие беды».

Правда, помещиком он был не «средней руки». Урожай на его тульских землях были самыми высокими в губернии. Свеклосахарные заводы выдерживали конкуренцию с заводами юга России. Его лесами приезжали любоваться академики. У него было 500 десятин (около 550 гектаров) отборного леса, и он был первым в России помещиком, который взялся его сажать, — за что царь удостоил его премии в 1500 рублей серебром и памятной медали

с надписью: «ПИОНЕРУ В РАЗВЕДЕНИИ РУССКИХ ЛЕСОВ ПОСАДКОЙ».

— Лесом дорожил, — вспоминали крестьяне. — Кто зайдет, помилуй Бог, засечет!

Хозяином он был страстным и лютым. Владениями своими гордился. «Я всё время при восхитительной погоде царил среди своих лесов, — писал он своему другу Василию Кривенко, — и с правом скажу, среди созданной мною местности».

Но чем больше он занимался коммерцией и хозяйством, тем сильнее обострялось в нем чувство собственника:

«Ездил в степь. Зачали косить рожь... Овсы всюду удивительные... И вся степь с лесами и полями, далекими деревнями — моя. Хорошо быть писателем — недурно быть и владельцем».

Выйдешь в сад, в поле, в лес, везде хозяин, всё мое. И даль-то синяя и та моя!

*«Свадьба Кречинского», действие первое, явление X*

Предприятия свои Александр Васильевич превозносил:

— Мои заводы сооружены мною, единственно мною, почти без средств, а я начинаю думать, что это лучшие заводы в России. Эти заводы ставят меня на ноги, дают мне независимое положение, мною самим созданное положение.

В том, что его заводы были лучшими в России, он не ошибался. Тульские помещики вспоминали, что водка «Кобылинка» «безусловно была из лучших» и конкурировала с популярными «Петровкой» и «Поповкой», потому что стоила значительно дешевле и очищалась механическим способом, без применения химических средств. Лошади кобы-

линских конезаводов славились резвостью на русских и европейских ипподромах, за них азартно сражались на аукционах, выкладывая «под молоток» тысячи. Спирт покупали коммерсанты из Италии, Франции и Германии. Древесину брали по самым высоким ценам — на отделку дворцов.

Да, заводы его были лучшими, как и всё, к чему он прикладывал руку. Везде успех: пьесы, леса, рысаки, карты, ипподромы, изобретения, урожаи. И рядом — аресты, позорные тюрьмы, беды, утраты, смерти.

Летом 1859 года в Париже друзья Сухово-Кобылина, супруги Анжелика и Антон Голицыны, познакомили его с баронессой Мари де Буглон. Это была девушка двадцати трех лет из старинной французской семьи, богатой и знатной, владевшей обширными поместьями в Бордо и Эльзасе. «М-ль Буглон решительно прелестная особа... — писала Анжелика Голицына Сухово-Кобылину, выступая в роли свахи. — Хороша, мила, остроумна, образованна, проста, скромна, не любит света». Последнее замечание особенно понравилось Александру Васильевичу.

Знакомство оказалось удачным. Александр Васильевич произвел впечатление. И француженка, стройная, юная, белокурая, внешне напоминавшая Луизу, тоже приглянулась ему.

В июле 1859 года он пишет из Парижа сестре Евдокии:

«Наконец, наконец, наконец я женюсь. Это решено, твердо решено на этот раз.

Вот уже почти две недели, как я обручен. Я очень внимательно изучаю личность и характер моей будущей жены, и чем больше я ее узнаю, тем больше люблю. Это натура довольно значительная и довольно сложная. По происхождению ее отец при-

надлежит к старинной и почтенной французской семье, известной и уважаемой на его родине, где им принадлежит старинное имение. Ее мать эльзаска, из хорошей военной семьи — натура тонкая и деликатная, прекрасная музыкантша, женщина, любящая своих детей до неистовства, безупречного поведения, хотя она овдовела 28 лет. Эта семья имеет приблизительно 12 тысяч франков ренты, которую мать всегда тратила на воспитание детей, воспитание довольно строгое, суровое; молодая девушка воспитывалась в монастыре *L'abbaye-aux-Bois*\*, одном из лучших заведений в стране. Она вышла оттуда три года назад и провела две зимы в Париже, посещая общество Сен-Жерменского предместья. Ей представлялось много партий, среди них одна очень богатая. Она всегда хотела выйти за человека умного и благородного — кажется, в прошлом году ей говорили обо мне в самых лестных выражениях (может быть, даже в слишком торжественных выражениях)».

Уже готовились к свадьбе. В особняке на улице Амстердам, дом 27, где жил Александр Васильевич, было шумно и весело, друзья приходили поздравлять, комнаты были завалены покупками, подарками, цветами. И тут — насмешка или, лучше сказать, театральная выходка Великого Слепца! — в жизни драматурга, в его реальной жизни в точности разыгрался эпизод из «Свадьбы Кречинского». Дядюшка Мари де Буглон господин Сегюр, этот французский Нелькин, пришел к будущей теще Сухово-Кобылина и объявил ей, что жених — темная личность, что у него в России ужасное уголов-

---

\* Вероятно, имеется в виду монастырь бернардинок Аббед-Буа в Париже на улице Севр. (*Прим. ред.*)

ное дело об убийстве какой-то француженки, что он мот и транжир, что у него ничего нет, кроме долгов, что все имения его перезаложены на взятки и что он, похоже, крупный мошенник.

Свадьбу отложили. Все родственники невесты были в панике. Дело принимало катастрофический оборот.

«Навели справки в русском посольстве, — пишет Александр Васильевич, — там ответили, что я вполне порядочный человек».

Однако дядюшка Сегюр не унимался. Он обегал всех «русских парижан» и пронюхал такие «подробности», от которых у тещи и невесты должны были волосы встать дыбом. События развивались захватывающе, как действие в пьесе. Сегюр торопился с докладом, «разоблачение» надвигалось. Но драматург, которого критики единодушно хвалили за умение «блестяще вести интригу», не позволил чужой интриге развиваться «блестяще». В жизни Нелькин все-таки *опоздал*.

«При третьей встрече, — пишет Сухово-Кобылин, — я рассказал всё свое дело в России, и вовремя, так как на следующий день г. де Сегюр явился к ним с другой версией — роман, в том виде, как о нем кричали в Москве, — и затем говорили об Надежде Ивановне Нарышкиной, это был почти разрыв. Я откровенно высказал всё, как было».

Усердие де Сегюра, однако же, не пропало даром. По аристократическим салонам Парижа прокатилась волна слухов, общество возмущалось, гудело, кипело, шипело.

«Всё это вызвало такой же шум и такие же сплетни в Сен-Жерменском предместье, как если бы это происходило в Москве», — ужасался Александр Васильевич.



Мари де Буглон отговаривали, уговаривали, заклинали, стращали участью другой француженки — Ходынским полем, кровавыми сугробами, «лютой Сарматией».

Но она не испугалась.

«Наконец две недели тому назад всё устроилось и успокоилось. Молодая особа сказала мне: я знаю, что вы честный человек, и верю вам больше, чем всей вселенной».

Действительно, всё уладилось. Но была одна неприятность, которая чрезвычайно раздражала Александра Васильевича. Баронесса де Буглон составила брачный контракт так, чтобы ее дочь никогда не могла вывезти из Франции свои деньги — 150 тысяч франков. «Она отговаривается тем, — писал Александр Васильевич сестре, — что в России возможна революция и ей хотелось бы, чтобы ее дочь во всяком случае была обеспечена капиталом, — со своей стороны, я подозреваю, что это последствие того шума, о котором я упоминал».

Так что господин де Сегюр если и не расстроил свадьбу, то уж во всяком случае насолил русскому помещику и промышленнику, которому в России деньги нужны были позарез: для заводов, для покупки новейших машин.

В августе 1859 года Сухово-Кобылин и Мари де Буглон обвенчались в Париже.

Осенью того же года они приехали в Кобылинку.

Над угрюмыми постройками его родового гнезда вдруг взошло и засверкало радостным светом летучее солнце — счастье... Веселость духа, молодость, жизнь — всё разом вернулось к нему. Он работал, как всегда, с четырех часов утра, но к обеду являлся не как прежде (и как потом), в «варварском одеянии» — запыленном бухарском халате и татар-

ских сапогах, измазанных строительной грязью, — а при параде: во фраке, белой манишке, с золотой цепочкой на жилетке и в блеске фамильных бриллиантов. Ожил и его отец Василий Александрович. Отставной гвардии полковник радовался несказанно, всё чаще поговаривал, что, может быть, Бог даст, увидит он *законных* внуков, прежде чем ляжет в могилу (незаконную внучку Луизу, зачатую сыном в страшный 1850 год, старик не признавал до гроба).

Ровно год продлилось семейное счастье Кобылина, пока не опомнился, не очнулся Великий Слепец, воздававший ему поспешной и властной рукой за триумф — бесчестьем, за славу — презрением, за почет — оскорблением, за счастье — бедой.

Весной 1860 года Мари заболела туберкулезом. Александр Васильевич возил лечить ее в Москву к лучшим профессорам Варвинскому и Иноземцеву, но всё безрезультатно. К осени состояние француженки резко ухудшилось, начались легочные кровотечения. В октябре решено было увезти ее из России на родину. По дороге Мари несколько раз теряла сознание, кровотечение начиналось при малейшем толчке кареты. Александр Васильевич всё время держал жену на руках, один за другим менял окровавленные платки. Приходя в себя, Мари настаивала на выезде матери им навстречу.

Они доехали до Западной Двины и встретились с баронессой де Буглон в Динабурге. Мари не суждено было увидеть родину. Они не достигли даже границ Российской империи. 26 октября 1860 года в помещении ямской станции в Вилькомире\* француженка скончалась на руках у мужа.

---

\* Динабург — современный Даугавпилс в Латвии, Вилькомир — современный Укмерге в Литве. (*Прим. ред.*)

Александр Васильевич и баронесса де Буглон повезли ее тело во Францию. Похоронили ее в родном имении.

Зимой он вернулся в Кобылинку. Приказал не топить в доме печей. Спал на верстаке в овчинном тулупе и валенках, вставал в кромешную тьму и шел *работать*: ругаться, строить, вникать, рубить... Рубить топором заледенелые сучья — с ожесточением, с яростью в сердце: проклята... проклята... «Проклята будь ты, судьба, в делах твоих!»

Одиночество в 1860-х годах стало его религией. Свою замкнутость, уединенность он ревностно оберегал, даже будучи видным промышленником и помещиком. «От земской деятельности, службы по выборам, уездной жизни, — вспоминает тульский помещик Александр Рембелинский, — он уклонялся совершенно и никакого участия в них не принимал».

Он вообще уклонялся от всякой *общественной* жизни отечества. В газетах предпочитал читать коммерческие новости и объявления. В споры о крестьянском вопросе, который бурно обсуждала тогда вся Россия, вникать не хотел. «России предстоят смуты и тяготы великие, — писал он в 1861 году, — кто молод, тот пусть едет в бурю, а кто уже изведal ветров, тот правит свое судно к пристани».

Его пристанью была родовая Кобылинка. И здесь, среди тульских полей и лесов, в самом сердце России, он был *иностранцем*, «истым европейцем», как говорил о нем его сосед Александр Ергольский. Из своего имения он чаще выезжал за границу, чем в Тулу, Москву или Петербург.

После смерти Мари он долго не мог прийти в себя и почти готов был уверовать, что ему суждено весь свой век прожить в одиночестве. Но жажда жизни была в нем неистребима. И эта жажда побуждала его тягаться со своей странной судьбой, которая одаряла его удачей во всяком начатом деле, но отказывала в самом желанном — в семейном очаге, в продолжении «могучего рода» Кобылиных.

И он тягался.

В 1867 году Александр Васильевич женился во второй раз. В начале октября он приехал в Россию из Англии с 25-летней супругой, англичанкой Эмилией Смит. Это была энергичная, деятельная и хозяйственная женщина. Она мастерски играла на рояле и пела чистым и громким голосом, была отличной наездницей, прекрасно фехтовала, метко стреляла из ружья. Она была несколько грубовата — не так деликатна и скромна, как Мари, не так нежна, как Луиза; курила сигары, пила вино, любила верховую охоту и многими привычками напоминала Александру Васильевичу его мать, скончавшуюся в июле 1862 года.

Никакими свадебными торжествами ни в Англии, ни в Кобылинке Александр Васильевич свой второй брак не отмечал, потому что «боялся сглазить», а также потому, что 1867 год, как и 1862-й, был для семьи траурным — умерла самая младшая и «самая любимая из сестер», художница Софья.

Характер Эмилией Смит, насмешливый, ироничный, мужественный, отвечал потребности его сердца, ожесточенного бедами и утратами. Английская невестка была довольно бесцеремонна в обращении со свекром, нередко подшучивала над его «чрезмерной религиозностью», позволяла себе заходить в охотничьих сапогах, с ружьями и кинжалами в до-

машиную часовню Василия Александровича. Тем не менее старику она очень нравилась, поскольку походила на покойную Марию Ивановну и заботилась о нем, ухаживала, вязала ему, постоянно дрожавшему от холода в огромном и мрачном кобылинском доме, шерстяные вещи. Эмилия принесла в этот дом, сотрясаемый бесконечными бедами, радостную уверенность, прочность, уют и тепло.

Но судьба жестоко обошлась и с этим нарождавшимся счастьем.

В середине января 1868 года Эмилия, плохо представлявшая себе коварство русских солнечных зим, имела неосторожность прокатиться верхом до Черни слишком легко одетой. Десять дней ее жгла лихорадка. Не помогали никакие средства. Врачи поставили диагноз «бурное воспаление мозга». 27 января она скончалась.

Хоронили ее в Москве, в лютый мороз. Занесенные снегом дома безучастно смотрели белыми, ослепшими глазами окон на траурную процессию и на него, сидевшего в санях без шапки, прижавшись лбом и стиснутыми кулаками к изголовью высокого гроба. «Гроб с телом Эмилии, — записал он потом, — везли через Тверскую и через тот переулок, где совершилась другая моя мука — убийство Луизы».

Эмилию Сухово-Кобылину похоронили на Введенском кладбище рядом с могилой Луизы Элизабет Симон-Деманш.

В 1860-е, годы смертей и утрат, он написал самую резкую и язвительную из своих пьес, которую назвал (и, может быть, не случайно, как будто желал пригвоздить неотступное слово) «СМЕРТЬ Тарел-

кина». Цензура потом переименовала ее в «Расплюевские веселые дни». Но словечко *веселые* не веселило. Напитавшись ядом кобылинского пера, оно усмехалось, горестно, злобно и едко, придавая еще большую резкость тому мрачному пафосу, каким дышали зловещие картины этой «комедии-шутки». Кого он сделал квартальным надзирателем, следователем, служителем Фемиды, стражем закона? Своего Расплюева. Мошенника. Что ж, он говорил напрямую, без всяких намеков и подмигиваний из-под строки: мошенники, жулики, аферисты и преступники — вот кому в руки даны сверкающий жезл власти и подвижное дышло закона... 40 лет спустя, когда эта пьеса, изжеванная и истрепанная цензурой, вырвалась на театральную сцену и повергла в смятение российскую публику, критика самоуверенно и бравадно писала:

«О, конечно, всё, что с таким душевным надрывом, исходя слезами и желчью, рассказал старик Сухово-Кобылин, дела давно минувших дней. Им не вернуться вновь, как не течь Волге вспять. 4 ноября 1864 года слишком решительно порвало с канцелярской тайной, бумажным судопроизводством и формальными доказательствами\*. В ту пору, какую рисует Сухово-Кобылин, русская Фемида ослепла. Но потянуло свежим воздухом, загудел весенний шум российской общественности. Варравины, Тарелкины и Расплюевы съежились и трусливою походкой ушли из ее храма, где вдруг стало светло, откуда вымели паутину».

---

\* По судебной реформе 1864 года вводились независимость следствия от администрации, всесословность суда, устная форма, гласность и состязательность процесса, институт присяжных заседателей, принцип презумпции невиновности. (*Прим. ред.*)

Но пьеса говорила о другом. Не съезживаются и не уходят бессмертные, как боги, российские чиновники, но *превращаются и мнимо умирают*, чтобы тут же воскреснуть вновь на «необъятном теле» России. Сама смерть, которая жестоко преследовала его в те годы, вырывая из жизни «излюбленные образы», была не властна в этом чудовищном мире чиновничьих масок; каким-то соломенным чучелом поместил он ее сюда, и то великое, непреодолимое и непостижимое, что повергает в трепет *живую* душу, здесь, на празднике механизмов и проворных, прожорливых трупов, облеченных в мундиры, погоны и ленты, превращалось в фарс, в буффонаду. Иначе и быть не могло: среди подлинных демонов смерти он заставил кривляться бессильным шутком всемогущего Азраила.

«Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылин считал вершиной своей драматургии. «Успехом “Кречинского”, — вспоминал помещик Ергольский, — он не мог не гордиться, конечно, но он никогда не выказывал какого-либо опьянения им. Если и заводили иной раз при нем речь, он говорил спокойно, как бы признавая как общее место успех комедии; но при этом он настойчиво высказывал, что, по его мнению, “Смерть Тарелкина” лучшее его произведение, какое он когда-либо написал».

«В Кречинском нет такой страницы, — писал Александр Васильевич в дневнике, — какая явилась в Веселых днях, в крике чиновника: “Всё наше! Всю Россию потребуем!” — я могу смело сказать, что такой страницы в России не написано».

Современники относились к этой пьесе иначе. Даже те, кто раньше «питал уважение» к его таланту, после его смерти в некрологах, посвященных «светлой памяти почетного академика изящной

словесности» и «одному из последних классиков XIX века», не могли простить ему «падения» и беззастенчиво хулили его, подбирая самые язвительные выражения.

«Поскольку эта комедия является сатирой на порядки своего времени, — писала в 1903 году критик Людмила Гуревич, — она может вызывать, при своих художественных недостатках, только ужас, смешанный с отвращением. Комические же эффекты, придуманные автором, имеют чисто балаганный характер. Остроты — плоски и пошлы. Язык, превосходный язык Сухово-Кобылина, стал здесь серым и банальным. Ни в чем никакого проблеска былого дарования, так что, читая эту комедию, невольно задаешься вопросом: да неужели же возможно такое отсутствие самокритики, такое падение ума и воображения у человека, который показал раньше несомненную даровитость?»

В 1862 году произошло событие, которое, казалось бы, должно было обрадовать его и как литератора, и как верноподданного «государей моих», но повергло в отчаяние и уныние.

В Москву приехал император Александр II. Встреча конечно же, как всегда, была пышной. Готовилась обширная развлекательная программа, намечалось в первый же вечер устроить грандиозный бал. Но государь бал отменил и потребовал, чтобы дали «Свадьбу Кречинского». Вечером он со свитой и все высшие сановники Москвы были в Малом театре. Очевидцы потом рассказывали Александру Васильевичу, что государь сильно смеялся, аплодировал, кричал «браво!» и даже облобызал Шумского, вызвав его в свою ложу.



— Приятная вещь, — отвечал на это Александр Васильевич, — но еще замечательней то, что до сих пор никто мне-то не сказал спасибо. Ведь вообще это принято во всём свете. Я даже сам не понимаю, за что мне такое забвение.

Много лет спустя, за два года до смерти, он обиделся и на другого императора. Николай II, присутствовавший на представлении «Свадьбы Кречинского» в Ярославле, тоже кричал «браво!», смеялся, аплодировал. Правда, с актерами лобызаться не стал, но зато выдал им денежные премии. Драматургу, имения и заводы которого были уже разорены дотла, деньги тогда были нужнее, чем высочайшее «спасибо».

«Я не понимаю, — писал он своему другу Николаю Минину, — по какому стечению обстоятельств государь не знает, что мои трудовые деньги текут уже скоро столетия в его кассу. Недавно блистательно была сыграна в Ярославле Свадьба Кречинского, всем участвующим выданы были деньги, один я остался обобраным и воротился домой, чтобы считать исчезнувшие годы и исчезнувшее состояние. Мне предлагают просить пенсию. Просить?! Я могу только требовать... Представьте, что проработавши всю жизнь, написавши три пиэссы, я не имею ни одной копейки от этих трудов. Когда Александр Дюма-сын написал свою Даму с Камелией, то республиканское правительство на другой день успеха дало ему крест ордена Почетного легиона. Театр дал ему до 500 тыс. франков сбора. Мне же, конечно, ордена не только не дали, а конфисковали весь сбор до последней копейки. После всех этих бед и обид я не жилец».

В самом деле, орденов у Кобылина не было — лишь одна медалька за разведение леса посадкой.

Но забвение... Оно было столь же поразительным, как и слава. Как и славу, забвение Великий Слепец уготовил ему при жизни. Отчасти, конечно, Сухово-Кобылин и сам много сделал для того, чтобы его забыли.

Литературного мира он чуждался на протяжении всей своей жизни. «Менее всего он чтит себя литератором, писателем, — вспоминает Рембелинский, — скажу более, к этому сословию вообще он чувствовал некоторое явное нерасположение. Я думаю, что он прямо бы обиделся, если бы ему сказали: вы писатель».

И он действительно обижался.

Когда Юрий Беляев обратился к нему со словами «господин литератор», он тут же осек:

— Я помещик, дворянин, владелец водочного завода — всё что хотите, но только не литератор!

Потом, смягчившись, объяснил Беляеву, почему он «не литератор»:

— Я писал свои пиэссы не для литературы, а скорее всего для самого себя; вот, может быть, отчего их нельзя встретить ни в одном учебнике литературы. В них есть в самом деле что-то слишком личное, слишком жизненное, что смущает наших профессоров.

«Стыдно признаться, — писал Беляев, публикуя свое интервью с Кобылиным, — но почему-то я считал его умершим».

В том, что он *жив*, сомневался не один Беляев. Хоронили его при жизни многие. «Еще недавно человек, находившийся в курсе всех литературных дел и течений, — писал в 1894 году корреспондент журнала «Семья», — выражал мне сомнения по поводу того, в живых ли автор до сих пор сохранивших жизненность Расплюева и Кречинского. Дей-

ствительно, о людях много менее талантливых, не написавших и не создавших ничего выдающегося, чаще приходится встречать сведения и данные в периодической печати, и неудивительно, что массовая, большая публика давно в своих представлениях считает автора “Свадьбы” в числе переселившихся в лучший мир».

«А. В. Сухово-Кобылин, — вспоминала Людмила Гуревич, — был так далек от центров русской литературной и общественной жизни, так отошел от живой действительности, что когда в 1900 году была поставлена последняя из трех пьес его драматической трилогии и в некоторых газетах было сообщено, что автор присутствовал на представлении, многие с удивлением спрашивали: “Неужели он еще жив?”».

«В столицах автора не видели, — оправдывалось в 1903 году «Новое время», опоздавшее с некрологом почти на неделю, — новых произведений его не появлялось, и большая публика стала полагать, что Сухово-Кобылина и в живых-то нет».

Его положение в литературе было необъяснимо и непонятно для газетчиков 1890-х годов. «Не поддерживая связей в литературном мире, — писал один из них, — драматург уединился в деревне и из своей Кобылинки изредка наезжает в Москву или в свое имение во Франции. Отчуждение Сухово-Кобылина от литературных сфер тем более удивительно, что по своим семейным связям он был близок к ним; так, его родная сестра была известной писательницей — Евгения Тур, сын которой, племянник драматурга, тоже наш известный романист — граф Е. А. Сальяс».

Впрочем, причину своего «отчуждения от литературных сфер» он никогда не скрывал. В немного-

численных и по большей части случайных интервью (газетные материалы о нем, появившиеся в конце XIX века, были похожи на публичные отчеты Императорского археологического общества: вот, дескать, господа, какая диковинная вещица отыскалась в землях Тульской губернии, какая нелепейшая на вид, но хорошо сохранившаяся статуэтка, предмет наивного культа древних эпох, материя темной старины, чудом уцелевшая на необъятных просторах преображенного реформами отечества) он не раз заявлял, что литература представляется ему *бюрократической иерархией*, что литераторы — это те же *чиновники* и что он уже имел несчастье числиться по петровской Табели о рангах титулярным советником, чиновником IX класса.

— В литературной Табели о рангах, — говорил он журналистам, — я не желаю быть ни надворным, ни статским, ни даже действительным тайным\*!

Высказывания его о современных ему писателях и философах были предельно короткими и безапелляционными:

— Шопенгауэр — пустомеля. Толстого я не понимаю. Ницше не читал и читать не желаю. Тургенева не признаю.

Вот так он отвечал на вопросы Беляева, который хотел выяснить, чем «питает» свою «загадочную душу» этот «эгоист идеи», который «проповедовал для себя и исповедовал самого себя».

К Тургеневу Александр Васильевич относился с особой неприязнью. Тот раздражал его не меньше, чем Островский. И так же, как об Островском, он

---

\* Гражданские чины соответственно VII, V и II классов. (Прим. ред.)

говорил о Тургеневе с язвительной и злобной усмешкой, подбирая самые резкие выражения:

«Читал Тургенева. “Чужой хлеб”. Плохо, пошло, вяло, без ума, без вкуса и без такта. Претензия на чувство, а сердца нет».

Неприятие Тургенева было не только (а может быть, даже и не столько) *литературным* неприятием. Иван Сергеевич был близким другом графини Салиас де Турнемир, поклонником ее таланта, завсегдатаем ее салона в доме на 1-й Мещерской в Москве. Имя Тургенева у Александра Васильевича было накрепко связано с этим домом и этим ненавистным ему салоном писательницы Евгении Тур, где зимой 1855 года, в дни его блеска и славы, московские литераторы отметили его дебют пощечинной молчания.

Молчали о нем всю его жизнь. У русских писателей XIX века, за исключением Боборыкина, нет суждений о драматурге Сухово-Кобылине. Да и внимание Боборыкина, который встречался с Кобылиным дважды, в 1870-х годах в Петербурге в итальянской опере и в 1890-х в парижской гостинице, было продиктовано особым рода любопытством — любопытством беллетриста, собирающего впрок «художественный материал» и «яркие типы общественности». «Сухово-Кобылин, — признавался он, — оставался для меня, да и вообще для писателей и того времени и позднейших десятилетий как бы невидимкой, некоторым иксом. Он поселился за границей, жил с иностранкой, занимался во Франции хозяйством и разными видами скопидомства, а под конец жизни купил виллу в Больё на Ривьере, после того как он в своей русской усадьбе совсем погорел... Он поражал меня своим бодрым видом, тоном, движениями. А ему тогда было уже

чуть ли не под восемьдесят лет. Для меня было интересно поближе приглядеться к такому типу московского барина — писателя, когда-то светского льва, да еще повитого трагической легендой».

Вот так и было: тех литераторов и журналистов, которые с ним встречались, он интересовал в основном как «тип» и «легенда». Литературный же дар его воспринимался как нечто случайное и побочное. И Александр Васильевич чувствовал это, осознавал с горечью. «Очень странное мое литературное современное положение, — писал он. — С одной стороны, симпатия к моим пиэссам большая, популярность их огромная, и, говоря о пиэссах, их постоянно ставят рядом с “Ревизором” и “Горем от ума”, но относительно меня как личности и таланта — совершенное равнодушие, точно эти пиэссы не мои, а так, достались мне по наследству от отдаленного родственника, и будто я, вор, все их только напечатал».

Говорили и такое — обвиняли в воровстве. Утверждали, что «название комедии списано с какого-то малоизвестного французского автора» и что «Сухово-Кобылин никогда не мог написать “Свадьбы Кречинского”, потому что был безграмотен» («Ежегодник Императорских театров», сезон 1905/06 года).

А один критик из журнала «Дело», сличая в 1869 году произведения Сухово-Кобылина, высказался: «Вообще нужно заметить, что между “Свадьбой Кречинского” и другими двумя пьесами существует поразительное несходство: почти невозможно верить, что они написаны одним и тем же автором».

В его «странном» литературном положении просматривалась та непреодолимая закономерность,

которая не допускала ничего одностороннего в его судьбе. Он желал быть независимым, и он был независим. Но независимость обернулась забвением — чудовишным забвением, гробом при жизни. Он игнорировал литературный мир и в своих заявлениях выражал явное презрение к литераторам, критикам, журналистам. Литературный мир игнорировал и презирал его. Великому Слепцу была по душе симметрия.

У него конечно же были привязанности в литературе, и не всякого писателя, «живого и мертвого», он поносил, как утверждал Боборыкин.

«Сухово-Кобылин выше всех поэтов ставил Шиллера и Гёте, — говорил в интервью газете «Русское слово» его племянник граф Салиас. — Он относился с большим уважением к Виктору Гюго, Шатобриану, Вольтеру, Руссо».

Великий комедиограф Франции Жан Батист Мольер восхищал его. Он читал и перечитывал его постоянно, называл «единственным и единым комиком» (он никогда не говорил «гений», это слово казалось ему чересчур напыщенным, он говорил «комик» о тех, перед чьим талантом преклонялся, и это вертлявое словечко в его устах звучало возвышенно и серьезно).

Граф Салиас утверждал, что «русской литературой Сухово-Кобылин не интересовался и ничего не читал». В этом была доля истины. Он действительно мало читал русских писателей. Но всё же читал и читал — тех, кто был ему дорог и близок — близок свойствами таланта. Книги Салтыкова-Щедрина и Гоголя он брал с собой во все поездки по Европе, они никогда не покидали его рабочего стола — ни в Кобылинке, ни в Гайросе, ни в Больё, где он доживал в одиночестве последние годы жизни. Салты-

ков-Шедрин, с которым Сухово-Кобылин лично не был знаком (о чем сожалел до слез, когда в 1889 году узнал о его смерти), восхищал его, он чувствовал в нем «родственное перо», удивлялся и радовался: «Читаю “Ташкентцы” Салтыкова — замечательное произведение по верности и свободе дикции и верности уязвляемых сторон России. Есть места поразительные, есть кое-что из “Дела”. Заметно и здесь его влияние».

О Гоголе Александр Васильевич мог говорить часами: цитировал наизусть, смеялся, восторгался, восхвалял неустанно. Гоголь был его пожизненной привязанностью. Еще в молодости в Италии он, как говорилось выше, «зачитывался Гоголем до упаду», а потом, в глубокой старости, на своей вилле в Болльё, когда уже никакие слова философских статей и трактатов не могли ободрить и увлечь его глаза, уставшие смотреть на мир, он открывал синие, тисненые золотом «марксовские»\* тома с портретами Гоголя, гравированными на стали Брокгаузом в Лейпциге, и с упоением читал знакомые страницы, смеялся в одиночестве, забывая обо всём на свете.

С Гоголем Сухово-Кобылин встречался не раз. Познакомился с ним в 1838 году. Тогда, отправляясь за границу, он отвез Николаю Васильевичу в Киев письмо от Максимовича, который часто бывал в московском доме Кобылиных. Потом виделся с ним в Италии. Путешествовал вместе с Гоголем на корабле по Средиземному морю.

---

\* *Адольф Федорович Маркс* (1838—1904) — основатель (1869) издательства (после его смерти — акционерное общество «Товарищество издательского и печатного дела А. Ф. Маркс»). (Прим. ред.)



— В этом человеке была неотразимая сила юмора, — рассказывал он Беляеву. — Помню, мы сидели однажды на палубе. Гоголь был с нами. Вдруг около мачты, тихонько крадучись, проскользнула кошка с красной ленточкой на шее. Гоголь приподнялся и, как-то уморительно вытянув шею и указывая на кошку, спросил: «Что это, никак ей Анну повесили на шею?»\* Особенно смешного в этих словах было очень мало, но сказано это было так, что вся наша компания покатилась от хохота. Да, великий это был комик. Равных ему я не встречал нигде, за исключением разве одного французского актера, Буффе, которого я частенько видел в своей молодости в парижских театрах.

Отношение Сухово-Кобылина к собственному творчеству было своеобразным. Вероятно, под влиянием того, что все три его пьесы были написаны в состоянии внутреннего потрясения, в самые трагические моменты судьбы, он воспринимал художественное творчество как нечто болезненное, нервное, лихорадочное, как тяжелый душевный недуг.

— Я так называемых литературных произведений писал очень мало, — говорил он журналистам. — Мое излюбленное и постоянное занятие — философия. Тут, как известно, не нужны ни особая игривость воображения, ни тем более развинченные нервы.

Когда интервьюеры спрашивали, думает ли он писать новые пьесы для театра, он уклонялся от ответа, отшучивался, говорил, что утратил свежесть ума, необходимую для этого рода искусства, что

---

\* Награжденные орденом Святой Анны 2-й степени носили орденский крест на шее на красной ленте с желтой каймой по обоим краям. (*Прим. ред.*)

долг помещика обязывает его вникать в хозяйство, что хотя управляющие у него и немцы, а всё равно за ними нужен глаз да глаз, не то растащат и пустят по миру.

Бывали даже случаи, когда знакомые актеры и режиссеры уговаривали его: напишите, Александр Васильевич, какую-нибудь пьесу из современной жизни, да поострее, порезче, вам же ничего не стоит, у вас золотое перо. Но он только махал рукой:

— Нет, куда мне... Я старик, отстал от века и совсем не знаю новых людей.

Но дело конечно же было не в старости, не в отсталости и не в утрате «свежести». Судьба одарила его могучим здоровьем, свежестью и ясностью ума, сохраняемыми до гроба. Как деятельный промышленник он не только не отставал, но опережал свой век; работая беспрестанно, сталкивался со множеством людей, хорошо знал нравы и образ жизни помещиков, крестьян, мастеровых, купцов, чиновников, откупщиков, конторщиков, фабрикантов.

Дело было в другом. В том, о чем он говорил только близким. Его друг помещик Ергольский писал:

«Александр Васильевич признавался, что каждый его литературный труд, каждая постановка пьесы были сопряжены с более или менее тяжелым ударом или утратой кого-либо из близких сердцу людей. Александр Васильевич боялся этой мистически-страшной связи, в которую положительно уверовал».

И это действительно так. В хронологии его творчества на каждую значительную дату — замысел, начало писания, завершение, цензурное разрешение, публикация, постановка — приходится смерть, трагедия, горе, утрата. Мистика, мистика... Нет, ра-

зумеется, ничего «мистически-страшного» не видится в этой судьбе, если смотреть на нее с расстояния времени, с той упоительной для беллетриста точки, с которой видны, словно бледные ленты дорог с вершины, все изгибы и петли далеких трагедий, с которой случайное выглядит неизбежным, непостижимое — должным и ясным, с которой легко водить указкой сюжета по проторенным тропам судьбы. Но почему эти тропы сплелись в такие зловещие узоры? Кто и для чего закрутил эти немислимые петли? На это беллетрист ничего не ответит. Он видит картину чужой судьбы и околдован ее завершенностью; его не устрашают ни эти узоры, ни эти петли — они явились ему разом, без той коварной постепенности, которая тянет жилы у путника, не знающего, куда повернет дорога. И там, на этой дороге пусть устрашают героя «мистически-страшные связи»: он ведь слепец на своих путях, и каждый последующий шаг его — тайна. Но так ли? Так ли был слеп герой? И не его ли прозрениями будет жив любой беллетрист, взявшийся описывать жизнь и дело Кобылина? Не самому ли герою дано было чувствовать странность своей судьбы, видеть ее манеру и почерк? Мистика, мистика. Или, может быть, *чувство судьбы*, обостренное до предела. У него это чувство не могло быть ослабленным, ибо самое поразительное в его, без сомнения, странной судьбе было то, что слишком явной была эта странность, слишком ощутимыми были «связи», и он их не мог не постигнуть. И постиг так хорошо, что уже не решался с былой безоглядностью продолжать эту неравную игру — платить утратами и бедами за «так называемые литературные произведения», за успех, за почет, за овации. И вот философия стала его излюбленным занятием.

Начиная с 1860-х годов он 30 лет изо дня в день трудился над философскими трактатами. Он первым в России перевел на русский язык все труды Гегеля, написал к ним обширные предисловия и послесловия, составил подробные комментарии и примечания. Его собственный философский труд (огромного объема, в несколько тысяч густо исписанных листов) «развивал и продолжал» учение Гегеля.

— Вот этот шкаф, — говорил он Юрию Беляеву, показывая ему свой кабинет в Кобылинке, — полон моими философскими трактатами. Я ведь гегельянец и кроме Гегеля и Гераклита другой философии не признаю.

В эти годы он читал философские книги с тем же самозабвением, с каким возводил свои заводы. Книг у него было огромное количество. Тульский семинарист Ардашев, приехавший однажды в Кобылинку, чтобы наняться к Александру Васильевичу переписчиком его трудов, вспоминал: «Рядом с кабинетом была довольно обширная комната, вся заставленная шкафами, полными книг. Книги помещались и на особо устроенных полках, закрытых от пыли шторами. Такая масса книг в доме частного человека меня поразила... Они почти все были на иностранных языках, и я с трудом, и то лишь у некоторых, улавливал их названия. Большинство попадавшихся на глаза было по философии и естественным наукам».

Потом, когда и эти книги, и шкаф с трактатами, и вся усадьба сгорят, кобылинская горничная Наталья Богачкина будет рассказывать:

— От книг пожар был. Страшно много у него было книг. В пожар листов от книг летело по деревне — ужас!

Вопросы Вещи, которые являются объектами. Они и  
мысль, которая является. Это, конечно, есть бытие, которое  
необходимо представлять и представлять. Это бытие.  
Мысль, которая является объектом. Это бытие и бытие  
представления, которое является объектом. Это бытие, которое  
есть бытие. Мысль, которая является объектом. —  
Мысль, которая является объектом. Это бытие и бытие  
бытия. —  
Но философский труд, который является объектом  
бытия, является объектом бытия. Это бытие, которое  
есть бытие. Мысль, которая является объектом. —  
Мысль, которая является объектом. Это бытие и бытие  
бытия, которое является объектом. Это бытие, которое  
есть бытие.

Рукопись философского труда Сухово-Кобылина

В декабре 1888 года, ровно за год до этого страшного пожара, он возил в Петербург свои философские сочинения. В поезде он ехал в одном купе со студентом Петровско-Разумовской земледельческой академии Константином Ходневым и каким-то отставным профессором. Старому профессору показалось знакомым его лицо — видел в литературной ложе на одном из первых представлений «Свадьбы Кречинского». Он шепнул на ухо студенту: «Кажется, это Сухово-Кобылин!» А потом обратился к Александру Васильевичу:

— Прошу прощения, не литератор ли вы?

— Да, я немного писал, — удивленно ответил Александр Васильевич.

— Вы автор «Свадьбы Кречинского»! — восторженно воскликнул студент.

Александр Васильевич спокойно ответил:

— Ну да, когда-то я написал такую комедию... Только это всё пустяки, молодой человек. Если вы думаете, что я и поныне отношусь к разряду тех людей, которых вы почтительно называете литераторами, то вы ошибаетесь. Я занимаюсь вещами куда более серьезными.

— Чем же, позвольте вас спросить? — вмешался профессор.

— Я в течение пятидесяти одного года обрабатываю философскую систему, которую окончил излагать письменно и теперь везу с собой в Петербург. Хочу напечатать.

Собеседники засыпали его вопросами о трактате, и Александр Васильевич, польщенный вниманием к своим философским трудам, оживился:

— Конечно, я говорю в своем сочинении и о религии, и о культуре и не поступлюсь ни единым словом из написанного! Всякое исключение, как

вы сами понимаете, нарушит цельность труда, да и можно предположить, что за пятьдесят лет мышления я не собираюсь публиковать легкомысленные вещи. Однако если всё сочинение целиком нельзя будет напечатать, я его вовсе не обнародую!

В Петербурге все издательства и журналы, которые он обошел, отказались печатать его философские труды. За несколько недель до пожара в усадьбе у него еще была возможность опубликовать часть своих философских писаний, согласившись на некоторые изъятия из текста. Редактор журнала «Русское обозрение», встретившись с Евгением Салиасом, поручил ему попросить у Сухова-Кобылина философскую статью для журнала. Узнав об этом, Александр Васильевич очень обрадовался. Тут же подготовил текст к печати и отдал в журнал один из своих трудов — «Введение в спекулятивную философию». Но через несколько дней ему пришлось забрать рукопись. «Редактор, продержавший у себя манускрипт, — объяснял он своему другу Антону Александрову, — неожиданно для меня потребовал Выпусков, урезок и проч., плохо мотивированных. Очевидно, это был предлог, чтобы статью не печатать; я не согласился, и дело не состоялось. Это второй отказ прессы поместить мои труды. Думаю так: довольно! Составлю теперь сокращенное изложение (один том) моих Спекуляций, чтобы перевести его по-немецки, — для чего и хочу поехать в Лейпциг искать хорошего стилиста».

Издавать манускрипты на немецком, чтобы избежать изъятий на русском, ему уже не пришлось — огонь изъясил труды целиком.

Те из современников, кто знал о его философских сочинениях, относились к ним как к какой-то

нелепой затее горделивого старика, ослабевшего умом.

«Он работал над переводом Гегеля, — напоминала в некрологе Гуревич. — Но задача эта оказалась словно не по силам человеку, блиставшему когда-то острым умом, владеющему превосходным языком. В какую-то старческую схоластику выродились его философские занятия, столь плодотворные для иного типа натур».

«Тяжкий опыт с двумя пьесами, относившимися к тому же к давно прошедшему, — писал в «Санкт-Петербургских ведомостях» некто Мечтатель, — едва ли способен был вдохновить покойного драматурга на дальнейшие опыты в этом направлении. И он утешал себя Гегелем».

Да, утешал. Хотел тишины... Не мог выносить качки... Направлял корабль к пристани. Утешал, утешал. И Гегелем, и заводами, и манускриптами.

Утешал. А многим казалось — тешил.



---

---

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

*Я уеду за границу и продам мои имения. Я устал от этой ко мне ненависти, хлопот, шатаний и просьб. Каждая из моих пьес есть процесс, который я должен выигрывать против цензуры и прессы...*

Из письма А. В. Сухово-Кобылина  
актеру В. Н. Давыдову

*Драматические произведения, милостивый государь, подобны детям. От них, зачатых в миг наслаждения, выношенных с трудом, рожденных в муках и редко живущих столько времени, чтобы успеть отблагодарить родителей за их заботы, — от них больше горя, чем радости.*

Бомарше. Содержательное письмо о провале и о критике «Севильского цирюльника»

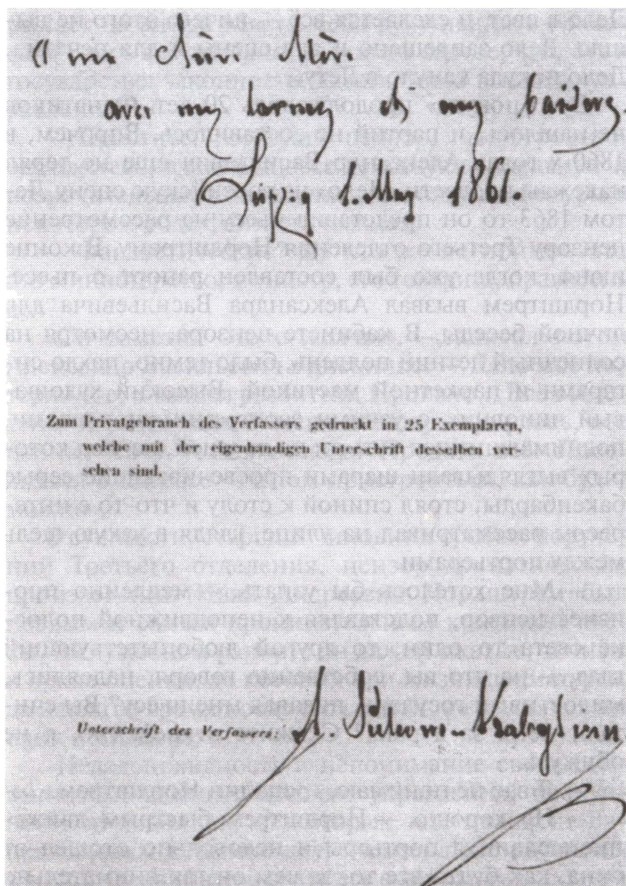
В 1861 году Александр Васильевич хорошо осознавал, что пьеса «Дело» не может быть опубликована или поставлена на сцене в России. Опасаясь попасть в черный цензорский список или под полицейский надзор, он даже не рискнул обращаться с пьесой в цензурный комитет. Германия — вот где он надеялся «дать жизнь» своим трудам, обреченным в отечестве на «литературный ostrакизм и забвение».

Весной 1861 года он отвез рукопись «Дела» в Лейпциг. И там, в типографии Бэра и Германа на Линденштрассе, дом 2, впервые было издано это

сочинение русского драматурга. Явившись 1 мая в контору Бэра и увидев отпечатанный тираж, он воодушевился: «На столе лежала стопка новеньких — 25 экземпляров — Дела. Они смотрели, как новорожденные, и как бы вмиг оживились. Книги эти собственно Я. Мне было приятно — и сквозь всю грусть, которой особенно полно мое сердце во время странствий и вояжей, проникло чувство удовлетворения, что вообще со мною редко случается».

Тираж книги Александр Васильевич привез в Россию, раздал своим друзьям. Он был уверен, что о пьесе заговорят, напишут о ней в газетах, что ее, может быть, прочитают влиятельные лица и найдут полезной для отечества, что дирекция Императорских театров пожелает поставить ее на сцене, что актеры будут наперебой просить пьесу для бенефиса и что всё это, наконец, окажет благоприятное воздействие на цензуру. Но случилось иначе. Случилось то, чего и следовало ожидать. Как только цензурному комитету стало известно содержание книги, изданной Сухово-Кобылиным за границей, она тут же была включена в список литературы, запрещенной для распространения в России. Настроение Александра Васильевича резко изменилось. 1 января 1862 года была сделана запись в его дневнике — горькая и безотрадная:

«Мне 44 года. У меня уже всё было и всё вышло — и я в себе спокойно сомневаюсь, то есть не признаю за собою никакого таланта. Мысль эта овладела мною с большой силой после осечки, учинившейся с Делом. Я думал, что, показавшись в 25 экземплярах, оно сделает шум и приобретет такую силу, что заставит себя пропустить на сцену — что явятся фанатики, целая партия, и она проташит



Страница лейпцигского издания «Дела» с указанием тиража — 25 экземпляров — и дарственной надписью на французском языке: «Моей дорогой матери с моими слезами и моими поцелуями». 1861 г.

Дело в свет, и делается всё — ничего этого не вышло. Дело запрещено и для сцены и для печати... Дело покуда кануло в Лету».

Это «покуда» продолжалось 20 лет. Фанатиков не нашлось, и партий не составилось. Впрочем, в 1860-х годах Александр Васильевич еще не терял надежды провести «Дело» на российскую сцену. Летом 1863-го он представил пьесу на рассмотрение цензору Третьего отделения Нордштрему. В конце июня, когда уже был составлен рапорт о пьесе, Нордштрем вызвал Александра Васильевича для личной беседы. В кабинете цензора, несмотря на солнечный летний полдень, было темно, пахло сигарами и паркетной мастикой. Высокий худошавый чиновник с узкими заостренными плечами, поднимавшимися чуть ли не до ушей, из-под которых выглядывали шарами просвечивающие серые бакенбарды, стоял спиной к столу и что-то с интересом рассматривал на улице, глядя в узкую щель между портьерами.

— Мне хотелось бы узнать, — медленно произнес цензор, подставляя к неподвижной полоске света то один, то другой любопытствующий глаз, — на что вы, собственно говоря, надеялись, милостивый государь, подавая мне пьесу? Вы считали меня за дурака? Скажите откровенно, я не обижусь.

— Я вас не понимаю, господин Нордштрем.

— Ну хорошо. — Нордштрем быстрым движением сдвинул портьеры и недовольно отошел от окна, как будто всё то, за чем он так внимательно наблюдал, вдруг потеряло для него всякий интерес. — Хорошо. Я скажу вам просто и прямо, чтоб у вас не оставалось никаких сомнений. Я вашу пьесу запрещаю. Она никогда, слышите — никогда! — не

выйдет на сцену. Мы на себя руку поднять не можем! Здесь всё осмеяно, всё самое святое, что есть в государстве: законность, власть, лица высшего управления!

— Простите, господин цензор, вы, вероятно, ошибаетесь, в моей пиэссе действуют отдельные и незначительные чиновники, да к тому же фигуры в некотором роде фантастические.

— Фантастические? Да кто же не поймет, что это министерство, министр, его товарищ, правитель дел?

«Он заметил это с желчью, — записал потом Александр Васильевич в дневнике. — Дело мое потерянное, я вышел разбитый. Пропало... Всё выметено. Я расстроен. У меня всё перевернулось, все планы. Хочу уехать отсюда. Продать всё. Поселиться в Гайросе — и там пристроиться, как будет можно».

В сущности, старший чиновник особых поручений Третьего отделения, цензор драматических произведений Иван Андреевич Нордштрем был первым и самым пронизательным критиком пьесы. В служебном рапорте он дал ей сжатые, точные и яркие оценки, до которых при жизни драматурга, да и долгое время после его смерти, не поднялся ни один рецензент:

«Недальновидность и непонимание своих обязанностей в лицах высшего управления, подкупность чиновников, от которых затем зависит направление и решение дел; несовершенство наших законов, сравниваемых в пьесе с капканами, полная безответственность судей за мнения и решения — всё это представляет крайне грустную картину и должно произвести на зрителя самое тяжелое впечатление».

Обер-прокурор Лебедев однажды отметил в своих «Записках»:

«Я читал Чичикова, или “Мертвые души” Гоголя. По содержанию и связи повести или поэмы это вздор, сущий вздор, небылица... Верно, умно. Но нельзя не заметить скрытой мысли автора: он пародирует современный порядок, современный класс чиновничий, но не совсем прав и местами немного дерзок. К сожалению, подобные пародеры мало знают наше управление и еще меньше причины его недостатков».

Что ж, титулярному советнику Николаю Васильевичу Гоголю не представилось случая лично столкнуться с департаментом статского советника Кастора Никифоровича Лебедева и вникнуть в «причины его недостатков». Но вот явился другой титулярный советник, другой «пародер» — «литературный сын и наследник Гоголя», как называл Сухово-Кобылина Амфитеатров. И уж он-то, волею судьбы, до тонкостей постиг механизм чиновничьей машины, классифицировал в «Деле» все виды чиновничьих взяток — от «сельской» и «промышленной» до «уголовной» и «капканной», выписал дерзким пером всю иерархию чиновничьей России — от «ничтожеств» и «не лиц» вроде стряпчего Троицкого до важных лиц вроде обер-прокурора Лебедева и «весьма важных лиц» вроде графа Панина. В чертах князя из драмы «Дело» невозможно было не узнать министра юстиции — была одна интимная подробность, которая безошибочно указывала на Панина: у его светлости из «Дела» были геморрой и несварение желудка, и потому, если проситель попадал ему под руку «в содовую», то есть в то время, когда сбой давал желудок, дело его было безнадежным (князь даже пытался увязывать эти про-

цедуры — «на вечер принять соды, а поутру просителя»). Его сиятельство тоже страдал расстройством пищеварения, и производство дел в Министерстве юстиции находилось в прямой зависимости от работы панинского желудка. Даже те из подчиненных, которые с благоговением вспоминали о своем начальнике, не могли умолчать об этой его особенности. «Все поступки и решения Панина, — свидетельствовал Семенов, — определялись тем, в каком состоянии его пищеварение». Так что новый «пародер», восполнив «упущения» Гоголя, проник даже в такую скрытую механику «высшего управления».

«Закон в деле, а дело — канцелярская тайна», — писал Кастор Никифорович, полагая, что только ему ведомы заветные чиновничьи тайны, что только ему известно, что «закон в руках чиновников, а чиновники и лично, и по содержанию не имеют никакого достоинства, лично — потому что малообразованны и слишком велика зависимость их дел от высших и общественного мнения; по содержанию — потому что его мало и пополняется оно взятками».

Любого возьмите: получает он от царя тысячу, проживает пять, да еще нажить хочет.

*«Дело», действие третье, явление I*

Ведь в полпивную не пойдешь; обедать — все-таки у Палкина\*, да мне другой раз на перчатки три целковых надо; выходит — петля! <...> Только

---

\* *Палкины* — известная с конца XVIII века династия петербургских рестораторов и содержателей трактиров, славившихся блюдами русской кухни. (*Прим. ред.*)

бы мне вот Силу да Случай, да я таким бы взяточником стал, что с мертвого снял бы шкуру; право бы снял — потому нужда!

«Дело», действие второе, явление IV

Обедал Кастор Никифорович не в «полпивной», как называли заведение, торгующее легким пивом, — «Сила и Случай» у прокурора были.

Отношения Сухово-Кобылина с цензурой по поводу его третьей пьесы были особыми. Цензоры отказывались даже принимать ее для рассмотрения. Резолюция министра внутренних дел Петра Валуева — «Сплошная революция» — уничтожала всякую надежду на постановку этой «комедии-шутки». Александр Васильевич десятки раз переписывал ее, исправлял, изменял отдельные сцены — но всё безрезультатно. Цензоры не желали вникать в его исправления, и всякий раз, когда он приносил пьесу, ему с порога заявляли, что разрешения на ее постановку не будет.

Сменялись цари, министры, начальники цензурного ведомства — «Смерть Тарелкина» оставалась под запретом. «Озлобление цензуры на нее большое, — писал Сухово-Кобылин в 1892 году актеру Александринского театра Владимиру Давыдову, — она обречена на вечный запрет — то есть для меня *вечный*, ибо мне 74 года. Скоро умирать. Прошу Вас: *помогите*. Весь цензурный совет против — обращение к министру единственный исход; и мне надо — надо — успех».

Александр Васильевич пускал в ход все свои связи, чтобы передать пьесу на рассмотрение непосредственно тогдашнему министру внутренних дел Ивану Николаевичу Дурново. Одно за другим он устраивал публичные чтения «Смерти Тарелкина»,



на которые приглашал влиятельных лиц: камергера и редактора газеты «Гражданин» князя Владимира Мещерского, имевшего доступ к министру, журналистов, литераторов, министерских чиновников. «Я веду борьбу насмерть с цензурой, которая объявила, что она никогда не согласится пропустить третью пиэссу, — писал он сестре Евдокии из Петербурга. — Для меня составляет большую важность, чтобы вытащить мою пиэссу на сцену. Ей здесь было три публичных чтения, и она едет всё в гору. Последнее чтение (в редакции «Гражданина». — В. О.) было самое удачное и можно назвать успехом. Вся задержка от цензуры. Что скажет министр, к которому я обратился с довольно резкой просьбой».

Министр Дурново, которому князь Мещерский передал пьесу с запиской Сухово-Кобылина, сказал — нет. «Пока я жив, — заявил он, — эта пьеса не будет идти ни в одном театре России!»

Две новые пьесы Кобылина были в то время уже знакомы по публикации небольшому кругу читающей публики. В 1869 году (при министре внутренних дел Тимашеве), отчаявшись провести на сцену «Дело» и «Смерть Тарелкина», Александр Васильевич добился цензурного разрешения на книжное издание своей трилогии. Допущенная к печати, она вышла в издательстве Каткова под названием «Картины прошедшего», что было непременным условием цензуры. Книга вызвала яростное озлобление и язвительные насмешки критики. Не было ни одного положительного отзыва. Во многих рецензиях звучали откровенные издевки и прямые оскорбления в адрес автора. Критика была единодушна в негодовании. Впрочем, иначе и быть не могло. Получив возможность печатно высказать свое от-

ношение к литераторам, Александр Васильевич написал такое предисловие к книге, что даже самые сдержанные и рассудительные критики были задеты и раздражены. В этом предисловии он назвал литературную критику «литературной бюрократией» и заявил, что «класс литераторов» так же чужд ему, «как остальные четырнадцать»\*. Высокомерием была пропитана каждая его строчка. Любые мнения о своих пьесах и в особенности о «Смерти Тарелкина» он заранее презирал: «...если какой-нибудь Добросовестный из цеха Критиков и приступил бы к ней с своим казенным аршином и клейменными весами, то едва ли такой офицер Водства Литературы и журнальных Дел может составить себе понятие о том равнодушии, с которым я посмотрю на его суд».

Больше всех обиделся критик из журнала «Дело». Он предрекал:

«Печальная участь постигает тех писателей, которые ради шутки желают побаловаться литературой и являются в ней как дилетанты, со своим первым скороспелым произведением, которое на первый раз имеет некоторый успех в публике. Такой писатель без таланта и призвания принимается писать не для шутки, а для славы. Не одаренный творческой силой, он начинает подражать самому себе и из законченной комедии выжимает новый сок, доказывая свою несостоятельность. К разряду таких случайных, непризванных авторов принадлежит автор книги “Картины прошедшего”, которая состоит из трех пьес и множества посвящений,

---

\* Введенная в 1722 году таблица чинов государственной службы в Российской империи — Табель о рангах — содержала 14 классов. (*Прим. ред.*)

# КАРТИНЫ ПРОШЕДШАГО

ПИСАТЬ СЪ НАТУРЫ

**А. СУХОВО-КОБЫЛИНЪ.**

Wer die Natur mit Vernunft ansieht,  
Das sieht sie auch vernünftig an.

*Hegel. Logik.*

Кто смотритъ на природу съ разумомъ,

Русский переводъ.

**МОСКВА.**

Въ Университетской типографіи (Катковъ и К°)  
на Страстномъ бульварѣ.

1869.

Титульный лист трилогии «Картины прошедшего». 1869 г.

предисловий и курьезных примечаний... Г. Сухово-Кобылин задумал из своего первого произведения соорудить нечто вроде вавилонского столпотворения. Над “Свадьбой Кречинского” он возвел целую пятиэтажную драму “Дело”, а над “Делом” построил еще трехъярусные антресоли под названием комедии-шутки “Смерть Тарелкина”. “Дело” является самым неудачным продолжением первой комедии. В “Деле” нет никакой драмы, нет положений и сцен, нет действия и действующих лиц. Интрига неловкая и маловероятная. Что же касается до “Смерти Тарелкина”, то нет никакой возможности передать ее содержания: так бессвязно-ерундлива эта пьеса... В предисловиях и послесловиях, которыми наполнена его книга, г. Сухово-Кобылин отрицает всякую критику — и он совершенно прав. Только одни литературные произведения принадлежат оценке критики.

О суровый обитатель Кобылинки! Критика безмолвствует, читая Ваше удивительное предисловие, и складывает свой казенный аршин перед Вашими последними произведениями, написанными каким-то рыночным стилем Сенной площади. Счастливого пути желаем г. Сухово-Кобылину в высших областях “беспечного созерцания”».

«Отечественные записки» выказали немалую мстительность, начав сразу же с разбора предисловия:

«Несмотря на достаточное разногласие с наукой, именуемой правописанием, правило, проповедуемое этим предисловием, небезвыгодно для гг. сочинителей, и ежели будет принято, то, конечно, обеспечит их от притязаний критики. Но мы сильно сомневаемся, чтобы литературная критика или, как выражается г. Сухово-Кобылин, “Добро-

совестные из цеха Критиков”, подчинилась его заявлению и даже обратила внимание на его равнодушные или неравнодушные... Из предисловия ничего нельзя понять, кроме того, что люди, не умеющие писать по-русски, с особенной охотой прибегают к пословицам; немного найдется людей, которые поймут эту шараду... В основании всех трех произведений г. Сухово-Кобылина лежит анекдот, из анекдота же, если его содержание не введено в рамы общечеловеческого, можно сделать только анекдот, а никак не драму. Чем дальше мы углубляемся в изданную г. Сухово-Кобылиным книгу, тем более убеждаемся, как трудно создать что-нибудь интересное, не имея под рукой никакого материала, кроме анекдота».

Четвертого апреля 1882 года пьеса «Дело», спустя четверть века после написания, была впервые поставлена на сцене. Название пьесе, так же как и книге, было предпослано цензурой: «Отжитое время». Цензурой же не было допущено распределение действующих лиц по категориям: 1) начальства; 2) силы; 3) подчиненности; 4) ничтожества или частных лиц; 5) не лицо Тишка.

Было изъято при постановке пьесы и «Весьма важное лицо».

Премьера состоялась в Малом театре. Главные роли исполняли лучшие актеры того времени: Муромского играл Давыдов, Лидочку — Дюжикова, Князя — Киселевский, Варравина — Варламов, Тарелкина — Сазонов, Нелькина — Горев.

«Публика, — писали «Московские ведомости», — 4 апреля битком наполнила театральную залу». Успех был огромный. Как и 27 лет назад, в дни

триумфа «Кречинского», зрители аплодировали стоя, по всему залу раздавались крики: «Автора!!» Правда, тех, кто вызывал его, то и дело одергивали:

— Что вы, что вы! Опомнитесь, автор давно уже умер!

Александр Васильевич, с радостью убедившись, что драма вызвала бурные овации, ушел из ложи, не показываясь публике.

На сей раз пресса не обмолвилась об успехе ни единым словом — как будто и не было в зале протяжного грома аплодисментов, выкриков «браво!» и дружных вызовов драматурга.

«Теперь, когда картина изображенной в пьесе жизни стала анахронизмом, — писал «Русский курьер», — самое большее, что может пьеса вызвать, это фразу: “Да, скверное это было время”. Да и что можно теперь сказать по поводу драмы г. Сухово-Кобылина — что гадок и отвратителен был мир взяточников, распорядившихся судьбами и честью мирных граждан. И можно только настаивать на том, что если где-нибудь, в каком-либо уголке России еще и теплится такая жизнь в последних минутах агонии, то надо не стеснять тот вопль угнетаемого, который раздается из этого уголка, а дать ему полную возможность при помощи общества долететь до центра, из которого исходят всякие мероприятия».

«Что ж, автор в данном случае употребил всю силу своего таланта на борьбу с призраками зол минувших», — поддерживали литературно-критический сюжет «Московские ведомости».

И все отзывы сводились к нескольким однородным утверждениям: что взятки теперь не берут; что мошенничество в таком размахе не существует; что крючкотворство, очковтирательство, произвол и

прочие пороки чиновничьей России уже изжиты; что всё изменилось к лучшему; что все «безобразия» «отжитого времени» канули в Лету и что «при теперешних судебных установлениях подобного рода дела немислимы».

Правда, в общем хоре исполненных оптимизма статей, призывавших российскую публику бесстрашно потыкать пальцем в призраков «зол минувших», промелькнула одна строка, не к месту затесавшаяся в бодрую, самоуверенную рецензию «Русского курьера». «Вся пьеса, — вдруг обмолвился критик, — производит в высшей степени гнетущее впечатление». Отчего же? Время-то «отжитое», и «роковой смысл» утрачен, и «свет реформ» рассеял мрак, и Фемида прозрела, и всё устроилось замечательно: в центре, «из которого исходят всякие мероприятия», сидят добрые и мудрые чиновники, думающие, как сделать, чтобы «в каком-либо уголке России» еще краше зацвела счастливая жизнь... Но вот гнетущее впечатление... Почему? Критика не объясняла, цензура же объяснила без лишних слов. После того как пьеса с неожиданным, взрывным успехом была поставлена несколькими крупнейшими театрами России, в том числе Александринским в Петербурге, она едва успела продержаться на сцене один сезон. К началу нового театрального сезона 1883/84 года пьеса «Отжитое время», она же «Дело», по указанию цензурного комитета была снята с репертуаров всех театров империи. Слишком бурной показалась реакция публики. Один из зрителей, побывавший на премьере в Александринском театре, в воспоминаниях, опубликованных в 1903 году в «Новом времени», писал: «И вся драма “Дело”, ужасная, дышащая нескрываемой злобой драма, в желчном негодовании сатирического

таланта бичующая российское бюрократство, захватила внимание всего театра и буквально приковала к сцене». Цензоры очень скоро поняли, что так на картины «отжитого времени» не реагируют и что название, придуманное ими для пьесы «Дело», сути не меняет. Пьеса вновь оказалась под запретом.

Только через десять лет, ценой огромных усилий — беспрестанные хлопоты, прошения, десятки писем актерам и режиссерам, государственным сановникам — Сухово-Кобылину удалось добиться нового разрешения на постановку «Дела». В январе 1892 года пьеса была возобновлена в Петербурге в Александринском театре. «Процесс» против цензуры, длившийся 35 лет, был выигран. Российская же пресса в этой тяжбе оказалась упорнее и последовательнее.

«Провел возобновление Дела удачно, — сообщал Александр Васильевич сестре Евдокии 2 февраля из Петербурга. — Было отлично, но газетчики устроили приказ о пьесе не говорить: замолчать!! К счастью, немного выручил Кривенко в Московских ведомостях».

Статья давнего друга Сухово-Кобылина Василия Силовича Кривенко в «Московских ведомостях» была единственным (за исключением двух-трех «микроскопических заметок» в петербургской прессе) откликом на возобновление «Дела». Статья была написана в теплом дружеском тоне, что выдавало приватный характер взаимоотношений между критиком и автором. Александра Васильевича она очень тронула, несмотря на то, что вопросам отечественной истории и биографии автора в ней уделялось больше внимания, чем самой пьесе. «Я очень доволен статьей Кривенко, — писал он сестре. — И кратко, и хорошо, и главное об волосах («убелен-



ных благородною сединою». — *В. О.*) и об letech всё сказано: утешил!» Цензурный фокус с названием («Отжитое время») произвел впечатление и на Василия Силовича. «“Дело” является красноречивым мотивом издания судебных уставов императора Александра II», — разъяснял он.

Что же касается жутковатого упоминания об объявлении Сухово-Кобылина покойником («Когда слышались голоса “автора, автора!” — писал Кривенко, — некоторые с удивлением переглядывались и замечали, что творец “Свадьбы Кречинского” и “Дела” давно умер»), то к тому времени он уже успел привыкнуть к собственным похоронам заживо. Молчание же прессы выводило его из себя. «У меня опять хлопоты, — писал он сестре 4 февраля 1892 года, — дают в воскресенье Дело, и надо устроить репетицию. Эти подлецы журналы — тот же прием, что с Кречинским; единственная пиэсса, которая производит впечатление, и тут ни один журнал ни слова».

Ни «казенного аршина», ни «клейменных весов» критика не простила ему до конца его дней.

И не только критика.

Имя Сухово-Кобылина не было даже упомянуто в «Истории новейшей русской литературы (1848—1890)» А. М. Скабичевского, выпущенной в 1891 году, так же как и в другом фундаментальном труде — «Истории русской словесности с древнейших времен до наших дней» П. Н. Полевого, опубликованной девятью годами позже. Автора знаменитой «Свадьбы Кречинского», принадлежавшей вместе с «Ревизором», «Грозой» и «Горем от ума» к главным козырям отечественного репертуара, не существовало для академического литературоведения.

В Москве на сцене Малого театра «Дело» было возобновлено значительно позже, чем в Петербурге, — 9 ноября 1900 года. «Подлецы журналы» и на сей раз, стиснув зубы, упорно молчали... Только «Театр и искусство» в 47-м номере сочувственно хлопал по плечу «старика Сухово-Кобылина», бесцеремонно пожалел о напрасно пролитых им слезах и попусту растраченном душевном порыве и бодро заверил российскую публику, что всё, о чем рассказал в своей пьесе престарелый сатирик, — «дела давно минувших дней».

---

---

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

*Когда сатирика относят на кладбище, он начинает умирать и литературно, с великолепными памятниками, венками, часовнями, храмами на страницах истории, но с превращением в мифологическую фигуру для публики.*

А. В. Амфитеатров.  
Очерк «Сухово-Кобылин»

Пятнадцатого сентября 1900 года на сцене театра Петербургского литературно-артистического общества была поставлена третья пьеса Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина». По настоянию цензуры она шла под радужно-безоблачным названием, как бы призывавшим всех от души посмеяться над причудливыми пороками прадедов, — «Расплюевские веселые дни». Во время премьеры случился скандал. «Кто бы мог подумать, — писал журналист и театральный критик Влас Дорошевич в «России», — что будут шикать Сухово-Кобылину! Такой совершенно невероятный казус произошел. По окончании пьесы среди шумных вызовов “автора!” слышалось энергичное протестующее шиканье. Все-таки шикать автору “Свадьбы Кречинского”, автору “Отжитого времени”, 83-летнему старику, классическая пьеса которого вот уже 45 лет украшает русскую сцену! За полицию, что ли, обиделись гг. “протестанты”! <...> Вызовы “автора” большинством театра, — добавлял Дорошевич, — начались

после первого же акта. Маститый автор, удивительно бодрый и на редкость сохранившийся старик, кланялся из ложи».

Над пьесой, которую Амфитеатров назвал «сценической иерихонской трубой», смеялись. Но смеялись как-то не так, как хотелось бы цензорам и критикам. Зал скручивало в конвульсиях, публика то и дело содрогалась от ужаса, и смех походил на пароксизмы безумия. Может быть, именно поэтому «Новое время» всю рецензию, напечатанную на следующий же день после премьеры, посвятило не пьесе, а тому, как надо над ней смеяться. «Автор рисует их (чиновников. — *В. О.*) со всей беззаботностью жизни, и смех, вызываемый комедией, должен быть так же прост и беззаботен!» — поучала газета — и тут же в качестве иллюстрации давала праздничную картинку: «Разыграна пьеса была дружно и весело — и оттого в театре всё время смеялись. Смеялся и сам автор. После 40 лет ожидания — это его неотъемлемое право».

Трогательно, радостно.

Впрочем, Александру Васильевичу действительно было радостно. Пьеса была поставлена — поручество министра внутренних дел Ивана Николаевича Дурново, который стал к тому времени председателем Комитета министров (и умер в один год с Сухово-Кобылиным), не сбылось.

Старость Кобылина, как и молодость, была отмечена неожиданным всплеском славы.

В мае 1900 года в Ярославле праздновался 150-летний юбилей русского театра. Съехалась вся театральная Россия, лучшие актеры и постановщики того времени. Ставились самые блистательные и успешные пьесы русского репертуара. На третий день торжества сразу же после «Грозы» Островско-

го дали «Свадьбу Кречинского». Пьеса прошла с триумфом. Автор присутствовал в театре. «Длинные антракты, — писал журнал «Театр и искусство», — все ушли на овации по адресу А. В. Сухово-Кобылина. Сначала он раскланивался из ложи, но потом его принудили выйти на сцену. Вывела его Н. В. Рыкалова».

Да, его буквально принудили: вся публика, включая высших сановников империи и членов царской фамилии, которые присутствовали в театре, встала со своих мест и в течение получаса дружно скандировала: «Автора!»

И он вышел. В первый и последний раз в жизни. «Убеленный сединами 83-летний старик, — писало «Русское слово», — вышел под руку с Рыкаловой, с тою самой Рыкаловой, которая 50 лет тому назад играла роль Атуевой в первом представлении «Свадьбы Кречинского». Театр стонал от аплодисментов. Театр дрожал... Дрожали и слезы счастья на глазах старца, сжавшего в дружеских объятиях свидетельницу первых дней его счастья, первых лучей славы».

Спустя год после этого события — 6, 7 и 8 июля 1901 года — сводная труппа артистов Александринки и театра Литературно-художественного общества на гастролях в Москве исполнила на сцене театра «Аквариум» одну за другой все три пьесы Сухово-Кобылина. Осуществилась заветная мечта Александра Васильевича — видеть всю трилогию разом на сцене. Впрочем, сам он на этих представлениях не присутствовал. После приезда на торжества в Ярославле он уже больше не выезжал из Франции. О постановках своих пьес он узнал из письма актера Давыдова, возглавлявшего гастрольную труппу и исполнявшего роль Расплюева.

Многие журналисты в России уже толком не знали, жив ли автор трилогии (о нем ходили самые разнообразные слухи: одни утверждали, что он сгорел заживо в своей тульской усадьбе, другие говорили, что уплыл на пароходе в Америку и умер там в нищете и одиночестве), и потому в рецензиях газетчики старались не упоминать никаких биографических сведений, которыми они, впрочем, и не располагали, и не адресовать свои «замечания» автору, пребывание которого «в мире живущих» представлялось им в высшей степени сомнительным. Рецензии (самые обширные поместило в трех номерах «Русское слово», остальные газеты ограничились короткими сообщениями) были сосредоточены в основном на игре актеров. Газеты отмечали, что пьесы вызвали «небывалое для летнего сезона оживление, разнообразие толков и мнений», что зал театра «Аквариум» был переполнен, что «дружные аплодисменты» не смолкали там три дня. «Данными вчера в “Аквариуме” “Расплюевскими веселыми днями”, — писало «Русское слово», — труппа петербургских актеров закончила трилогию Сухово-Кобылина. “Расплюевские веселые дни” как новинка для Москвы собрали многочисленную публику и прошли с выдающимся внешним успехом; все сцены с г. Давыдовым проходили при гомерическом хохоте, достигшем высших границ в знаменитой картине, где Расплюев является в качестве следователя. Тут сделалось что-то невообразимое — половина говорившегося на сцене пропадало за взрывами хохота, ничем не сдерживаемого. Ввиду успеха пьесы последняя часть трилогии будет дана еще раз».

Двадцать пятого февраля 1902 года, в один день с Горьким, Сухово-Кобылин был избран почетным

академиком изящной словесности. Сообщение об этом он прочитал спустя месяц в русских газетах, которые доставил ему сосед по вилле в Больё Максим Максимович Ковалевский. Драматург был расстроган до слез. Он тут же сел и написал коротенькое письмецо:

«Ваше Императорское Высочество Великий Князь Константин Константинович!

Спешу принести мое искреннее благодарение за Внимание Вашего высочества к моим посильным трудам в сферах изящной литературы.

Александр Сухово-Кобылин. 27 Марта 1902 года.  
Больё, Вилла *Ma Maisonette*».

Вместе с этими отрадными событиями его старости судьба, как и прежде, обрушила на него беды, несчастья, утраты.

Через несколько месяцев после возобновления «Дела» умерла в младенческом возрасте его единственная и горячо любимая внучка — дочь Луизы Александровны и маркиза Исидора Фальтана. «Долго после этого, вспоминая в разговоре привычки малютки, — писал Александр Ергольский, — он плакал горько и как-то сиротливо». Спустя три года, в 1895-м, скончался и его обожаемый зять, капитан французской армии маркиз Фальтан. «Смерть нашу семью не покидает», — писал Александр Васильевич своему другу Николаю Минину. Со смертью Фальтана, который управлял имениями и заводами Сухово-Кобылина, пришло полное разорение.

«Надо мною стряслась такая масса неотразимых трат, затрат, утрат, растрат, потрав, захвата лугов, хищения лесов, разноса инвентаря», — писал он неустановленному адресату.

Почти во всех письмах Сухово-Кобылина 1890-х годов звучит, как зловещая нота, это слово — разорение:

«...Состояния потрачены — более того, разрушены. Ценность имений падает — и всё смотрит разорением».

«...Утверждаю — разорение. Оно и есть, явилось, пришло, абсолютно пришло, как смерть».

«Моя особенная забота, — писал он Минину незадолго до пожара в усадьбе, — это несомненная близость моей кончины, и забота, что такая масса 30-летнего труда может пойти прахом, туманом и пылью».

Результаты его трудов обратились не в прах и пыль, а в дым и пепел. В декабре 1889 года сгорела дотла кобылинская усадьба, а вместе с ней и все его философские сочинения, переводы Гегеля, наброски неоконченных пьес, библиотека и царские указы.

— Горело зимой, ночью, — вспоминал крестьянин Федор Горшков. — Видно было на четыре версты. Там мужики видели зарево во всё небо.

Рухнули в разорении его заводы, всю жизнь возводимые им с пылом. На лом были сданы винные котлы вместе с гидравлическими прессами, насосами, сахарными пилами и «центрабегами». В топку пошли отборные леса, с аукциона — рысаки. «Всё это я берег и думал употребить в дело, — писал он своему племяннику Михаилу Петрово-Соловово. — Теперь всё кончено».

Истинным философом он стал лишь в глубокой старости. Лишившись философских трудов и богатства, похоронив почти всех родных и близких, он с созерцательным равнодушием смотрел, как скупались за бесценок, шли на уплату долгов, отсу-



живались, а то и просто захватывались без всяких судов его запущенные и оскудевшие земельные владения. Он ничего не предпринимал. Он только обреченно шутил в письмах: «Был у меня старый слуга, управляющий моими сахарными заводами, Петр Иванович Зубарев, человек смысленый, бы-валый, знавший весь окрестный мир; и когда мне случалось спросить, отчего такой-то помещик, человек хороший и скромный, разорился, то он обыкновенно с равнодушием непререкаемой убежденности говорил: растащили-с...»

В середине 1890-х годов он продал остатки своих земельных владений, купил виллу в Больё на берегу Средиземного моря, в семи верстах от Ниццы, и, взяв с собой акварельный портретик Луизы Симон-Деманш, некоторые уцелевшие бумаги и одного сообразительного слугу, исполнявшего одновременно обязанности камердинера и секретаря, покинул Россию.

«Вот именно тот конец, к которому мы приходим, — писал он племянникам из Франции. — Воля Божья. Я стараюсь всё приканчивать. Труды мои по философии пошли прахом, стало, вся жизнь пошла прахом — и это та же рана в грудь. Теперь всё кончено. У меня такая иллюзия, что все вы уже далеко».

Он уходил из жизни тихо и незаметно для российской публики. Истратив силы на сорокалетнюю борьбу с цензурой и прессой, он покидал мир с чувством опустошения и горечи. И даже этим своим уходом он дал повод для еще одного упрека под занавес. «Вся трилогия доказывает, — писали в 1903 году «Санкт-Петербургские ведомости», давая волю запоздалому пафосу, — что в Сухово-Кобылине дремали огромные творческие силы и что ря-

дом с драматическим талантом в его душе горел священный освежительный огонь сатиры. А сатира не умирает, не может умереть — и если она, в лице Сухово-Кобылина, сложила у нас руки, то, вероятнее всего, потому, что она уселась у моря и ждала погоды».

Да, сатира уселась у моря. Только она уже ничего не ждала ни от себя, ни от «российских полей и пажитей», где ее обрекли на «литературный остракизм и забвение».

Его вилла в Больё стояла на пригорке у самого берега моря. Небольшой кабинет с двумя трехстворчатыми окнами находился на втором этаже. Из его окон, как писал в воспоминаниях студент Сухонин, «открывался чудный вид на окружающие виллы, сады и гладкую, голубую, безбрежную даль Средиземного моря». На эту безбрежную даль он смотрел целыми днями, сидя в венском кресле-качалке перед распахнутыми окнами. В нем еще оставалось что-то от той страстной кобылинской природы, которая заставляла его делать всё с «апостольским жаром» — сочинять, строить, хозяйствовать, заниматься спортом, вегетарианствовать. Теперь он проповедовал солнце. Круглый год он «брал солнечные ванны», утверждая, что они спасают от всех недугов. И его сосед, юрист и историк академик Максим Ковалевский, видевший, что старик никогда ничем не болеет, почти готов был уверовать в чудодейственную силу солнечных ванн, если бы одна из таких ванн, «взятая» Кобылиным в холодную погоду у распахнутого окна, не обернулась тяжелым воспалением легких. Оно оказалось неизлечимым и скоротечным...

Сухонин, навестивший драматурга за год до его кончины, сообщал в журнале «Всемирный вест-

ник», что Александр Васильевич написал в Больё «несколько произведений, которые в России напечатаны быть не могут». Какие произведения? О чем? Сухонин не говорил. А может быть, он выдумал это из жалости, чтобы напомнить российской цензуре и забывчивой публике о блестящем пере сатирика. «“Свадьба Кречинского”, — писал он, — пятьдесят лет не сходит с репертуара, а автор ее, старик, — всеми забыт... грустно и тяжело».

Первыми поместили некролог «Тульские губернские ведомости»:

«Телеграф сообщил грустную весть. 11 марта 1903 года в Больё, около Нишцы, на 86-м году жизни скончался один из известнейших русских драматургов А. В. Сухово-Кобылин».

Великолепных памятников, часовен и храмов не было — ни в прямом, ни в переносном смысле. Гроб с телом сатирика отвезли на кладбище в Нищцу на скромной погребальной колеснице, за которой следовали дочь Луиза и несколько русских старичков, постоянно лечившихся в Больё у французских докторов.

В России дело обстояло и того скромнее.

«Сегодня, 14 марта, в маленькой верхней церкви у Семиония, что на Моховой, — сообщало «Новое время», — отслужили заупокойную обедню и панихиду по Александру Васильевичу Сухово-Кобылину. Из полуторамиллионной массы петербуржцев собралось почтить память большого писателя всего шесть человек».

К концу марта российская пресса исчерпала запас траурных эпитетов. Некрологи сменились игриво подмигивающими статьями, намекающими на «весьма бурную молодость» покойного. Позднее появились пространные воспоминания, как-то са-

ми собой всплыли на поверхность журнально-газетного моря «темное уголовное дело», белокурая француженка с кровавой раной на шее, кастильские кинжалы, вьюжная ночь, Ходынское поле. И началась длинная история разбирательства с привлечением «объективных свидетелей», «достоверных источников», «проверенных сведений» и даже экспертов-криминалистов. Из дикой разноголосицы мнений и утверждений постепенно составилось два стройных хора, и каждый с усердием выводил свой мотив: убийца, негодяй, донжуан, крепостник, лжец, игрок, самодур. Невинный ангел...

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. В. СУХОВО-КОБЫЛИНА

- 1817, 17 сентября* — родился в имении Сухово-Кобылиных селе Воскресенском Московской губернии.
- 1834* — принят «своекоштным» студентом на физико-математическое отделение философского факультета Московского университета.
- 1837* — награжден золотой медалью университета за конкурсное сочинение «О равновесии гибкой линии с приложением к цепным мостам».
- 1838* — оканчивает Московский университет со степенью кандидата философского факультета.  
Отправляется в заграничное путешествие.
- 1838—1839* — живет в Италии, встречается в Риме с Н. В. Гоголем, увлеченно читает его сочинения, путешествует вместе с ним на корабле по Средиземному морю.
- 1839—1841* — живет в Германии, слушает лекции в Гейдельбергском и Берлинском университетах.
- 1841* — поселяется в Париже, посещает комедийные театры. Знакомится с парижской модисткой Луизой Элизабет Симон-Деманш, ставшей его любовницей.
- 1842* — возвращается в Россию. Ведет светскую жизнь. Выигрывает главный приз на первой джентльменской скачке в Москве.  
*6 октября* — в Россию приезжает из Парижа Луиза Симон-Деманш.
- 1843, 11 сентября* — поступает на службу в канцелярию московского генерал-губернатора в чине коллежского секретаря.
- 1846, 31 января* — произведен в титулярные советники.
- 1847, октябрь—декабрь* — едет в Томск с целью приобрести золотые прииски.
- 1848* — принимает управление всеми имениями рода Сухово-Кобылиных.
- 1849* — оставляет государственную службу.
- 1850, ночь с 7 на 8 ноября* — Луиза Симон-Деманш исчезает из своей квартиры в Брюсовом переулке.  
*9 ноября* — труп Симон-Деманш найден на Ходынском поле близ Ваганьковского кладбища.

- 10 ноября* — начинается следствие по делу об убийстве Симон-Деманш.
- 12 ноября* — в доме Сухово-Кобылина на Страстном бульваре производится обыск.
- 16 ноября* — арестован по подозрению в убийстве Симон-Деманш.
- 20 ноября* — в убийстве сознаются крепостные люди Сухово-Кобылина.
- 22 ноября* — освобожден из-под стражи с подпиской о невыезде из Москвы.
- Во время тюремного заключения задумывает пьесу «Свадьба Кречинского».
- 1851, 10 мая* — материалы следствия по делу об убийстве Симон-Деманш представлены военному генерал-губернатору Москвы А. А. Закревскому.
- 3 июня* — в Париже родилась дочь Сухово-Кобылина и Надежды Ивановны Нарышкиной Луиза.
- 13 сентября* — решением Московского надворного суда крепостные Сухово-Кобылина приговорены к каторжным работам, а сам он признан невиновным в убийстве.
- 13 ноября* — крепостные отрекаются от своих признаний в убийстве Симон-Деманш.
- 1852* — сделаны предварительные наброски некоторых сцен «Свадьбы Кречинского».
- 18—22 декабря* — слушание дела об убийстве Симон-Деманш в Петербурге, в первом отделении шестого департамента Правительствующего сената.
- 1853, январь—март* — продолжает работу над «Свадьбой Кречинского».
- 26 июня* — дело об убийстве Симон-Деманш слушается в Общем собрании московских и петербургских департаментов Правительствующего сената.
- 2 октября* — министр юстиции граф В. Н. Панин усматривает в деле факты, навлекающие на Сухово-Кобылина подозрение в убийстве, и предлагает подвергнуть дело «строгому переследованию».
- 27 октября* — дело рассматривается в департаменте гражданских и духовных дел Государственного совета.
- 17 декабря* — Государственный совет утверждает заключение министра юстиции и принимает решение о

- создании чрезвычайной следственной комиссии для повторного расследования.
- 1854, 11 января* — Николай I знакомится с делом и утверждает решение Государственного совета о создании комиссии.
- 27 февраля* — начало работы комиссии во главе с генерал-майором Ливенцовым.
- 30 апреля* — постановление комиссии об аресте Сухово-Кобылина.
- 7 мая* — второй арест, препровождение в одиночную камеру городской тюрьмы у Воскресенских ворот. В тюрьме работает над «Свадьбой Кречинского».
- 15 октября* — закончена «Свадьба Кречинского».
- 2 ноября* — решением надворного суда освобожден из-под стражи под поручительство родственников.
- Середина ноября* — читает «Свадьбу Кречинского» актеру Малого театра П. М. Садовскому. Цензура запрещает постановку «Свадьбы Кречинского» на сцене. Пьеса распространяется в списках.
- 1855, 26 мая* — читает «Свадьбу Кречинского» актеру Малого театра С. В. Шумскому. Шумский просит отдать пьесу для его бенефиса.
- 16 августа* — получено цензурное разрешение на постановку «Свадьбы Кречинского».
- 11 ноября* — Правительствующий сенат принимает решение оставить Сухово-Кобылина под подозрением «по предмету участия в убийстве» и подвергнуть его церковному покаянию «за любодейную связь» с Симон-Деманш.
- 28 ноября* — премьера «Свадьбы Кречинского» в Малом театре в бенефис Шумского.
- 11 декабря* — за незаконное сожительство с Симон-Деманш подвергнут процедуре публичного покаяния в церкви Воскресения на Успенском Вражке.
- 1856, 9 апреля* — знакомится с Н. А. Некрасовым, отдает ему «Свадьбу Кречинского» для публикации в «Современнике».
- 7 мая* — премьера «Свадьбы Кречинского» в Петербурге в Александринском театре в бенефис актера Ф. А. Бурдина.
- 12 мая* — цензурное разрешение на издание «Свадьбы Кречинского».

- 13 мая — первая публикация «Свадьбы Кречинского» в «Современнике».
- 31 августа — в Серпухове написаны две первые сцены «Дела».
- 1857, 25 октября — Государственный совет принял предложение министра юстиции В. Н. Панина оправдать «равным образом» Сухово-Кобылина и его крепостных. Дело об убийстве Симон-Деманш закрыто.
- 1858, 7 апреля — в канцелярии тульского генерал-губернатора Сухово-Кобылина возвращены паспорт, подписка о невыезде, документы и конфискованные вещи.
- 15 апреля — выезжает во Францию.
- Апрель—октябрь — работает над пьесой «Дело».
- 19 октября — возвращается в Россию. Знакомится на пароходе с Аполлоном Григорьевым и читает ему «Дело».
- 1859, 19 августа — женится в Париже на французской баронессе Мари де Буглон.
- Сентябрь — приезжает с женой в родовое имение Кобылинку.
- 1860, 26 октября — смерть Мари де Буглон.
- 1861, февраль — окончание работы над первой редакцией «Дела».
- 1 мая — издание «Дела» в Лейпциге тиражом 25 экземпляров.
- Декабрь — цензурное запрещение лейпцигского издания «Дела» для распространения в России.
- 1863, 25 июня — Третье отделение запрещает постановку «Дела» на сцене.
- 1864—1866 — попытки добиться снятия запрета на постановку и публикацию «Дела». Работа над пьесой «Смерть Тарелкина».
- 1867, лето — женитьба на англичанке Эмилии Смит.
- 1868, 27 января — смерть Эмилии Смит.
- 1869, февраль — закончена «Смерть Тарелкина».
- Март — добивается разрешения на издание драматургической трилогии под цензурным названием «Картины прошедшего».
- 31 марта — выход в свет трилогии «Картины прошедшего».
- 1881 — «Дело» разрешено для постановки под названием «Отжитое время» с цензурными купюрами.



- 1882, 4 апреля — премьера «Отжитого времени» в Малом театре.  
12 апреля — премьера «Отжитого времени» в Русском театре в Москве.  
31 августа — премьера «Отжитого времени» в Александринском театре в Петербурге.  
Запрещение «Смерти Тарелкина» для сцены.
- 1883, февраль — «Отжитое время» по указанию цензуры снято с репертуара всех театров.
- 1888 — исправленный и сокращенный вариант «Смерти Тарелкина» запрещен начальником Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистовым.
- 1892, 3 января — возобновление «Дела» в Александринском театре.  
Апрель — министр внутренних дел И. Н. Дурново запрещает для сцены «Смерть Тарелкина».
- 1895, 26 ноября — юбилейное представление «Свадьбы Кречинского» в театре Ф. А. Корша.
- 1899, 19 декабря — пожар в Кобылинке уничтожил библиотеку, рукописи литературных и философских трудов Сухова-Кобылина.
- 1900, 15 сентября — премьера «Смерти Тарелкина» под цензурным названием «Расплюевские веселые дни» на сцене театра Петербургского литературно-артистического общества.  
9 ноября — возобновление «Дела» в Малом театре.
- 1901, 6—8 июля — петербургские артисты исполняют на сцене театра «Аквариум» в Москве трилогию Сухова-Кобылина.
- 1902, 5 февраля — постановка «Свадьбы Кречинского» на сцене парижского театра «Ренессанс».  
25 февраля — избран почетным академиком изящной словесности Российской академии наук.
- 1903, 11 марта — умер в Больё близ Ниццы. Похоронен в Ницце.

## КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

### Архивные материалы

Автобиография Сухова-Кобылина. Черновик // Российский государственный архив литературы и искусства (далее — РГАЛИ). Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 310.

Дело об убийстве московской купчихи Луизы Ивановны Симон-Деманш. Печатный экземпляр для высших членов Государственного совета // Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина. Архивно-рукописный отдел (далее — РО ГЦТМ). Ф. 273. № 138342.

Дневники Сухова-Кобылина. 1827—1856, 1857—1859, 1859—1861, 1861—1863, 1864—1865, 1868—1870 гг. // РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 219, 222, 224, 227, 228, 235.

Записи Сухова-Кобылина об истории создания пьесы «Свадьба Кречинского» // РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 11. Ед. хр. 2.

Записка обер-прокурора Сената по делу об убийстве купчихи Симон-Деманш // РО ГЦТМ. Ф. 273. № 138343.

Материалы к статьям Сухова-Кобылина «Русское самодержавие» и «На Россию идет буря» // РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 213.

Письма Сухова-Кобылина А. А. Александрову // РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 745.

Письма Сухова-Кобылина В. С. Кривенко // РГАЛИ. Ф. 785. Оп. 1. Ед. хр. 39.

Письма Сухова-Кобылина Н. В. Минину // РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 268.

Речь, сказанная Сухово-Кобылиным в собрании Тульского дворянства в 1881 году // РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 201.

### Произведения А. В. Сухова-Кобылина

Картины прошедшего. Писал с натуры А. Сухово-Кобылин. М., 1869.

*Сухово-Кобылин А. В.* Трилогия («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина») / Под ред. Л. П. Гроссмана. М.; Л., 1927.

*Сухово-Кобылин А. В.* Трилогия («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»). М., 1955.

Сухово-Кобылин А. В. Картины прошедшего. М., 1989 (серия «Литературные памятники»).

## Литература

- Аксаков К. С. Воспоминания студентства. СПб., 1911.
- Амфитеатров А. В. Литературный альбом. СПб., 1907.
- Амфитеатров А. В. Собрание сочинений. Т. 21. СПб., б. г.
- Беляев Ю. Д. У А. В. Сухово-Кобылина // Новое время. 1899. № 8355.
- Беляев Ю. Д. Мельпомена. СПб., 1905.
- Бессараб М. Я. Сухово-Кобылин. М., 1981.
- Боборыкин П. Д. За полвека. Мои воспоминания. М.; Л., 1929.
- Бурдин Ф. А. Из воспоминаний артиста Императорских театров // Исторический вестник. 1891. Кн. 4.
- Вольф А. И. Хроника Петербургских Театров с конца 1855 до начала 1881 г.: В 3 ч. Ч. 3. СПб., 1884.
- Гнедич П. Из моей записной книжки. А. В. Сухово-Кобылин // Театр и искусство. 1913. № 14.
- Гнедич П. П. Хроника русских драматических спектаклей на Императорской Петербургской сцене 1881—1890 годов // Сборник историко-театральной секции. Т. 1. Пг., 1918.
- Голомбиевский А. А. Драма в жизни писателя: А. В. Сухово-Кобылин и французенка Симон. М., 1910.
- Голомбиевский А. А. Драма в жизни писателя: А. В. Сухово-Кобылин и французенка Симон // Русский архив. 1910. Кн. 2.
- Горелов А. Три судьбы. Л., 1976.
- Гроссман В. А. Дело Сухово-Кобылина. М., 1936.
- Гроссман Л. П. Преступление Сухово-Кобылина. Л., 1927.
- Гроссман Л. П. Театр Сухово-Кобылина. М.; Л., 1940.
- Гуревич Л. А. В. Сухово-Кобылин: Литературный портрет // Вестник и библиотека самообразования. 1903. № 20.
- Два письма Сухово-Кобылина к актеру Александринского театра В. Н. Давыдову // Театр. 1938. № 5.
- Дорошевич В. Дело об убийстве Симон Диманш // Россия. 1900. № 500.
- Дорошевич В. М. Избранные рассказы и очерки. М., 1962.
- Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. Пг., 1916.

Ежегодник Императорских театров. Сезон 1902/1903 г. Книга приложений. Приложение 3. СПб., 1903.

*Ергольский А.* Памяти А. В. Сухово-Кобылина // Одесские новости. 1903. № 5921.

Интервью племянника А. В. Сухово-Кобылина графа Е. А. Сальяса // Русское слово. 1903. № 71.

*Клейнер И. М.* Драматургия Сухово-Кобылина. М., 1961.

*Клейнер И. М.* Судьба Сухово-Кобылина. М., 1969.

*Кононов Н. Н.* Сухово-Кобылин и царская цензура // Ученые записки Рязанского государственного педагогического института. 1946. № 4.

*Милонов Н. А.* Драматургия А. В. Сухово-Кобылина. Тула, 1956.

*Переселенков С. А.* А. В. Сухово-Кобылин // Ежегодник Петроградских государственных театров. Сезон 1918/1919 г. Пг., 1920.

Письма А. В. Сухово-Кобылина родным // Труды публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 3. М., 1934.

*Рембелинский А. М.* А. В. Сухово-Кобылин // Новое время. 1903. № 9711.

*Рембелинский А. М.* Еще о драме в жизни писателя // Русская старина. 1910. Кн. 5.

*Росиев П. А.* В. Сухово-Кобылин и француженка Симон // Русская старина. 1910. Кн. 6.

*Рудницкий К. А.* В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М., 1957.

*С. К.* У автора «Свадьбы Кречинского» // Семья. 1894. № 8.

Семинарист у А. В. Сухово-Кобылина (Из воспоминаний И. А.) // Исторический вестник. 1912. Кн. 12.

*Сухонин С.* Встречи. А. В. Сухово-Кобылин // Всемирный вестник. 1903. № 6—7.

*Феоктистов Е. М.* Глава из воспоминаний о писателях и артистах // Атеней: Историко-литературный временник. Кн. 3. Л., 1926.

*Ходнев К.* Встреча с А. В. Сухово-Кобылиным // Русская старина. 1903. Кн. 6.

*Яблоновский С.* Памяти Сухово-Кобылина // Русское слово. 1903. № 71.

*Языков Д.* Александр Васильевич Сухово-Кобылин: Его жизнь и литературная деятельность: Очерк студента Императорского Московского университета. М., 1904.

## СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая .....	5
Глава вторая .....	29
Глава третья .....	54
Глава четвертая .....	92
Глава пятая .....	139
Глава шестая .....	160
Глава седьмая .....	170
Глава восьмая .....	212
Глава девятая .....	221
Глава десятая .....	263
Глава одиннадцатая .....	281
Основные даты жизни и творчества	
А. В. Сухова-Кобылина .....	291
Краткая библиография .....	296

## **Отрошенко В. О.**

- О 87 Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга / Владислав Отрошенко. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 299[5] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 56).

**ISBN 978-5-235-03666-6**

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817—1903) был, казалось, баловнем судьбы: знатный и богатый барин, статный красавец, великолепный наездник, любимец женщин, удачливый предприниматель, драматург, первой же комедией «Свадьба Кречинского» потрясший столичный театральный мир. Но за подарки судьбы приходилось жестоко расплачиваться: все три пьесы Сухово-Кобылина пробивались на сцену через препоны цензуры, обе жены-иностранки вскоре после свадьбы умерли у него на руках, предприятия пришли в упадок, литературные и философские труды обратились в пепел. Особенно повлияло на его жизнь и творчество беспрецедентное по запутанности и масштабам уголовное дело об убийстве его французской любовницы, в котором он был обвинен.

Совместимость гения и злодейства, воля рока и воля человека, власть случая и власть разума, таинственные пути Провидения и фантастические узоры судьбы — об этом повествует написанная на основе документов и следственных материалов книга Владислава Отрошенко, сплав исторического романа о загадочной жизненной истории с расследованием громкого уголовного преступления.

**УДК 882-2(092)**  
**ББК 84(2Рос=Рус)1**

знак информационной  
продукции **16+**

**Отрошенко Владислав Олегович**

**СУХОВО-КОБЫЛИН**

Роман-расследование о судьбе  
и уголовном деле русского драматурга

Редактор **Е. А. Никулина**

Художественный редактор **А. В. Никитин**

Технический редактор **М. П. Качурина**

Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова**

Сдано в набор 14.08.2013. Подписано в печать 18.10.2013.  
Формат 70x100/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.  
Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 12,35+0,65 вкл. Тираж 4000 экз.  
Заказ № 1312520.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства:  
127055, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>.  
E-mail: [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)

**arvato** Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленного электронного оригинал-макета  
япк в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

**ISBN 978-5-235-03666-6**

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

# ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Л. Дубова, Г. Чернявский  
«КЛАН КЕННЕДИ»

Д. Володихин  
«РЮРИКОВИЧИ»

Н. Семенова  
«ЛАБАС»

А. Ранчин  
«БОРИС И ГЛЕБ»

О. Волкогонова  
«КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ»

С. Михеенков  
«КОНЕВ»

Н. Скороход  
«ЛЕОНИД АНДРЕЕВ»



Телефоны для оптовых покупателей:  
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64  
<http://gvardiya.ru>. E-mail: [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)



СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

# ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

К. Сапожников  
«УГО ЧАВЕС»

А. Волынец  
«ЖДАНОВ»

Н. Богомоллов, Дж. Малмстад  
«МИХАИЛ КУЗМИН»

Н. Великанов  
«МЕРЕЦКОВ»

В. Бондаренко  
«ГЕРОИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ»

Л. Млечин  
«КОЛЛОНТАЙ»

А. Готовцева, О. Киянская  
«РЫЛЕЕВ»



Телефоны для оптовых покупателей:  
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64  
<http://gvardiya.ru>. E-mail: [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)

---

# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

---

*Склад  
издательства «Молодая гвардия»  
находится в центре Москвы  
по адресу:  
Сущевская ул., д. 21  
ст. м. «Новослободская», «Менделеевская»*



**В отделе реализации действует  
гибкая система скидок**



**Доставка книг по территории  
Москвы и Московской области  
БЕСПЛАТНО**

**ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ**

8(495) 787-64-20

8(495) 787-62-92

**ТЕЛЕФОНЫ СКЛАДА**

8(495) 787-65-39    8(495) 787-63-64



ISBN 978-5-235-03666-6



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ